

Н. Христов

ПО СЛЕДАМ „БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ“

*...Я хотел воскресить те, мало кому известные,
пощаженные временем следы,
которые могли бы очертить
контуры одной из самых драматических
битв нашей новой истории:
поединка между бездушными силами фашизма
и непримиримой мыслью и духом народа.*

Политиздат

Эта книга документальная, но в ее задачу не входит дать исторически исчерпывающую картину. Побуждения, двигавшие мною, можно определить скорее как потребность всмотреться в те апрельские дни 1925 года, которые в сознании народа почти три десятилетия были окружены зловещей тайной. Такого рода интерес в ряде случаев ведет к очень неполным оценкам и суждениям. И я с самого начала внушал себе, что должен рассказывать хладнокровно, руководствуясь больше фактами, чем воображением.

На моем столе лежат выписки из судебных протоколов, стенограммы заседаний Народного собрания, воспоминания оставшихся в живых свидетелей, вырезки из тогдашних газет — болгарских и зарубежных, подпольные партийные издания. Я бы хотел, чтобы вся эта баррикада фактов уберегла меня от произвольных толкований, столь заманчивых для писателя и столь ненужных для публицистики подобного рода.

Разумеется, все эти соображения имеют больше значения для автора, чем для читателей. И если я решил поделиться ими, то лишь для того, чтобы мне было еще труднее этим пренебречь.

Автор

Николай Христов
ПО ДИРЯТА
НА БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИТЕ

Второ допълнено издание

Партиздат
София
1973

Н. Христовоз
**ПО
СЛЕДАМ
„БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИХ“**

Документальная повесть

Издательство
политической
литературы
Москва
1976

Перевод с болгарского
Л. П. ЛИХАЧЕВОЙ

Христов Н.

Х93 По следам «без вести пропавших». Докум.
повесть. Пер. с болг. М., Политиздат,
1976.

168 с.

Документальная повесть известного болгарского писателя Н. Христова рассказывает о кровавых преступлениях болгарских фашистов, пришедших к власти в результате военного переворота 1923 года и организовавших в 1925 году массовые убийства своих политических противников, прежде всего коммунистов. Книга отражает широкое движение трудящихся Советского Союза и многих других стран в защиту жертв фашистского террора.

Х $\frac{10303-188}{079(02)-76}$ 237-76

9(М)72

Перевод на русский язык

© ПОЛИТИЗДАТ, 1976 г.

Понедельник, 23 августа 1954 года. В 9 часов 30 минут утра Военная коллегия Верховного суда Народной Республики Болгарии приступила к рассмотрению уголовного дела № 634.

Обвиняются: генерал в отставке Иван Вылков, полковник в отставке Димитр Порков, полковник в отставке Иван Кефсизов, полковник в отставке Тома Прендов, капитан в отставке Стилиян Тошев, подполковник в отставке Цвятко Николов, полковник в отставке Гроздан Грозданов, полковник в отставке Илия Ковачев, полковник в отставке Пенчо Сарафов, полковник в отставке Кирилл Стефанов, майор в отставке Петр Сапунов и бывший торговец запчастями для автомашин Александр Петрович.

Вещественные доказательства: черепа убитых, остатки мешков, веревочных и кабельных петель, кожаных ремней, обуви и часов, а также протезы, мундштуки, пуговицы, кольца, шпильки для волос, искусственный глаз и пр.

Я стою перед витриной с уцелевшими вещами убитых и думаю о не связанной с физическими законами природы преемственности поколений, о незримой цепи жизни, объединяющей нас с великими тенями минувшего и с теми, что придут после нас,— с людьми будущего, в которых останутся жить искры наших тленных сердец.

Смеркается, в музее, кроме меня, никого. Витрина передо мной — распахнутая, полная трагизма сокровищница всего того, что некогда было дыханьем, биемием сердца, жизнью. Полумрак почти скрыл очертания обуглившихся в долгом земляном плену ключев ремней и веревок; не видно и часов — черных, изъеденных ржавчиной, — лишь золотистые,

стиснутые, словно скорбные руки, стрелки все еще поблескивают. Быть может, они пробежали свой последний круг под тяжелой лавиной земли, когда сердце их владельца уже остановилось навсегда. И сберегли медленное остывание руки, последний трепет тела, холодный мрак могилы...

Только кучка стеклянных и перламутровых пуговиц, оставшихся от истлевших рубашек убитых, не спешит сдаться темноте. Мне даже кажется, что в бледных предвечерних сумерках они излучают какое-то свое, особое, безмолвное сияние. Я думаю о тех, кто к ним прикасался, о пришивавших их матерях и женах, о теплых детских тельцах, которые когда-то к ним прижимались.

В этом моем чувстве нет никакой мистики. Я только открываю для себя людей, так же просто и естественно связанных со всеми этими вещами, как мы со всем, что нас окружает. И я вижу, что люди, к которым мы привыкли относиться, как к высоким символам и нетленным знаменам, в сущности, очень близки нам: такие же земные, так же, как мы, подвластные обычным радостям и заботам, они спешили пройти по дорогам своих дней, не подозревая, что время осенит их имена ореолом бессмертия.

Кучка белых пуговиц светится чистым созвездием, рядом с ней голубым сиянием вспыхивает стеклянный глаз Гео Милева — все говорит о жизни, об этом простом и великом таинстве, которое переходит из крови в кровь и из памяти в память.

И я уже знал, что должен писать о них.

Я знал, что ветры повседневности могут развеять, как бесплодную тучу, наше молчаливое преклонение — самую чистую и благородную почесть, которую мы отдаем погибшим. Голоса эпохи надо ловить до того, как они заглохнут в небытии. И это не бегство от сегодняшнего дня, а забота о его смысле и его богатстве. Не будем же торопиться отдавать истории еще не зажившую в душе народа рану.

Думал я и о другом. Жизнь спешит, течет мимо нас невидимой рекой, а мы стоим на ее берегу, смотрим и не понимаем, что, в сущности, уходит — время или мы сами? Сколько планов и порывов гибнет в торопливой суете наших дней! Сколько несвершенных дел бьется в наших мыслях, пока в один пре-

красный день мы вдруг не заметим, что они уже перестали нас тревожить. И вместо облегчения в наших сердцах оседает еще более тяжкая, ничем не излечимая тревога — тревога за бесцельно прожитые, бесплодные дни.

Да, я должен писать о них.

Это был ответ на вопрос, который я неустанно задавал себе, листая протоколы процесса 1954 года: как рассказать о тех, исполненных трагизма, апрельских ночах? А если обращение к этим страшным страницам в жизни моего народа нанесет ему незаслуженное оскорбление? Три тысячи страниц уголовного дела — бесконечная цепь убийств, убийств, убийств, — словно бы видения, воскресшие из глубин самых варварских времен истории человечества. Не только рука, сама мысль цепенела от этого.

Но постепенно картины ужасов становились все бледнее. Мрачные фигуры палачей терялись в безмолвном сиянии человеческой доблести и духовной силы. Во весь рост вставали передо мной замученные, растоптанные, задушенные, сраженные свинцом и человеческой низостью мужчины и женщины, бесконечная колонна героев, напоминающая о том, что остается навеки, даже когда человек уходит из этого мира...

И в полутемном зале музея пришли ко мне слова, которые я мысленно уже предпосылал своей будущей книге:

Мрачные страницы в истории народа в первую очередь свидетельствуют о несокрушимой мощи света, который стремились погасить темные силы.

Разгул кровавого безумия прежде всего говорит о высоте мысли, которую эти темные силы жаждали уничтожить.

Возвращение к фанатической жестокости давних времен только доказывает, насколько могучим был порыв к будущему, который хотели сломить эти темные силы.

ПРЕЛЮДИЯ

Пламя восстания задушено, но угли его все еще угрожающе вспыхивают. Народ повержен, но ум его и сердце продолжают сопротивляться, не желая смириться с поражением¹.

Это Болгария накануне апреля 1925 года. Открытая борьба невозможна. Разум революции требует сохранения сил народа для решающего сражения. Но мысль о борьбе жива. Загнанная вглубь, революция продолжается — суровая, трагическая, но абсолютно реальная.

Фашизм в наступлении. На европейском небосклоне поднимаются зловещие фигуры Муссолини и его болгарских идейных сородичей во главе с Цанковым. Гитлер — пока всего лишь мало кому известный политический авантюрист, отбывающий наказание за неудачную попытку совершить в Мюнхене фашистский переворот. Это позднее взвоятся над рейхстагом огненные языки, задымят трубы крематориев, разразится невиданная в истории военная гроза.

— Обвиняемый Вылков, признаете ли вы себя виновным? — задает свой первый вопрос председатель суда.

Главный обвиняемый пытается отклонить прямой удар:

— Я дам объяснения по этому вопросу.

— Значит ли это, что вы не признаете себя виновным? — еще раз спрашивает председатель.

¹ Речь идет о первом в Европе антифашистском восстании, вспыхнувшем в Болгарии 23 сентября 1923 года. Несмотря на героизм повстанцев, оно было зверски подавлено фашистским правительством. — *Прим. перев.*

Ответ напоминает отступление на заранее заготовленные позиции, необходимые для проведения маневра.

— В определенном отношении признаю.

Похоже, бывший генерал не понимает, сколь неуместны все его тактические ходы сейчас, когда он потерпел поражение от самой истории.

Председатель суда не считает нужным вступать в спор о степени виновности подсудимого. Чтобы доказать преступление, он выбирает самый прямой путь — обращается к фактам.

— Расскажите о своем участии в перевороте 9 июня¹.

Обвиняемый Вылков, который, по всей видимости, собирался продемонстрировать остатки бывшего генеральского великолепия, сокрушенно вздыхает. Да, сражение действительно безвозвратно проиграно. Единственное, что остается бывшему министру, стоящему сейчас под взглядами вдов, сыновей и братьев своих жертв,— это давать показания.

— Месяца за два до переворота 9 июня царь через полковника Драганова назначил мне встречу. Произошло это в Зоологическом саду, в одном из служебных помещений, куда привел меня директор Зоосада. Там я застал царя. Он сразу же спросил меня: «Что делается в армии?» Я ответил, что настроение офицерского корпуса таково, что оно может вылиться в нежелательные действия против правительства Стамболийского. Монарх возразил в том смысле, что мы должны употребить все усилия для предотвращения подобных действий... Но когда я ему сказал, что офицерство не остановить никакими усилиями, и спросил, как нам быть в таком случае, он вскинул руки, и на лице его появилось выражение, которое, по крайней мере для меня, означало, что и он не видит другого выхода и согласен с действиями офицеров, то есть со свержением Стамболийского.

¹ 9 июня 1923 года возглавляемая А. Цанковым фашистская партия «Народный говор» в союзе с военными совершила государственный переворот, свергнув правительство Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС), во главе которого стоял Александр Стамболийский.— *Прим. пер.*

На следующий день я доложил Центральному правлению Военного союза о своей встрече с монархом, и мы пришли к окончательному выводу, что царь не будет противиться перевороту. Тогда же была назначена и дата — ночь с 8 на 9 июня, пятница...

Я предпочел бы не входить в новый кабинет сразу же после переворота. Но в тот же день, 9 июня, Цанков, взявший себе кроме поста премьера министерства иностранных дел и военное, понял, что это ему не под силу, и сказал мне: «Вылков, бери-ка ты себе военное министерство». И 10 июня появился новый указ — о моем назначении.

В качестве министра я должен был представиться царю. Первыми его словами были: «Вы спасли Болгарию и трон...» Тут я окончательно убедился, что все, то есть переворот, произошло по его желанию...

Когда я сообщил новому Совету министров о том, что Стамболийский убит при попытке к бегству, это было всеми встречено равнодушно. Только Александр Цанков встал со своего места и нервно засмеялся. И сказал, что в подобных случаях никто не может нести никакой ответственности. «Помните, господа, что армия привела нас к власти, и мы обязаны ее поддерживать!»

Как видно из процитированных показаний генерала Вылкова, корни апрельских преступлений восходят еще к перевороту 9 июня 1923 года. Можно было бы заглянуть и еще дальше назад и вспомнить о другом событии, не получившем, разумеется, такой общественной гласности, как переворот, — о возникновении в 1919 году тайного Военного союза во главе с Вылковым, Лазаровым, Начевым и Дамяном Велчевым.

Один из подсудимых, Порков, на суде показал:

— Я служил в Пятом конном полку, в Брезнике, когда однажды в конце 1919 года заместитель командира полка полковник Хатов пригласил нас к себе «на чашку кофе». Однако вместо угощения он рассказал нам об организации Военного союза и зачитал его устав. В уставе говорилось о необходимости укрепления дисциплины в армии, об улучшении материального положения офицеров, о создании для них специальных санаториев, о борьбе против увольнений, предусмотренных договором в Нейи...

— Это и были действительные цели Военного союза? — спросил председатель суда.

— Потом я понял, что, по существу, главной задачей нашего Союза была борьба с коммунистами и земледельцами¹.

Столь же подробно Порков рассказал и о деятельности оперативной группы, с помощью которой Военный союз приводил в исполнение свои решения, — так называемой Третьей секции военного министерства.

— После переворота 9 июня, — сообщил Порков, — я был назначен начальником Третьей секции, где уже служили капитан Кочо Стоянов и поручик Димитр Радев. Вскоре к нам были прикомандированы также поручики Иван Кефсизов, Тома Прендов, Стилиян Тошев и Савва Куцаров...

Когда вспыхнуло Сентябрьское восстание, я получил задание действовать в Долнобанском районе. Прибыв в село Радуил, я приказал вывести на сельскую площадь схваченных повстанцев и собрать туда все местное население. Затем я сказал крестьянам, что болгарская армия крепка и сильна и сумеет справиться с каждым, кто пойдет против нее с оружием в руках, порицал их за то, что они пошли за коммунистами, убеждал не верить им и не идти по этому пути. А потом приказал прикончить повстанцев штыками. Двое добровольцев из шпицкоманды² выполнили этот приказ.

На станции Костенец под стражей содержались двадцать — двадцать пять коммунистов. Из них шесть-семь человек были помещены отдельно. Я приказал их ликвидировать. Покончив с этим, я позвонил начальнику гарнизона и сообщил ему, что район очищен. Мы не имели возможности преследовать тех, кто скрывался в горах. Поэтому я сказал ему, что все тихо, мирно и спокойно, и он приказал мне вернуться.

Можно представить себе, что на языке убийц означают слова «тихо, мирно и спокойно». Слова, от которых веет смертным холодом, безмолвием подав-

¹ Земледельцы — члены Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС). — *Прим. перев.*

² Шпицкоманды — специальные карательные отряды, созданные правительством во время Сентябрьского восстания. — *Прим. перев.*

ленного крика, задушенной воли. Но спокойствие победителей оказалось непрочным. Как только прошло первое оцепенение, народ снова начал нащупывать пути революционной борьбы. «Поражение научит нас побеждать!» — эти слова нужны были не только для поднятия духа, они стали реальной программой действия!

Под сентябрьскими пепелищами разгоралось новое восстание — еще более всеохватное, решительное и победоносное. Каждый новый день подтверждал его приближение. У правительства Цанкова и Вылкова не было другого выбора: или позорный крах, или попытка отсрочить свою гибель с помощью последнего оставшегося в его распоряжении средства — жестокого, отчаянного террора.

14 июня 1924 года наемные убийцы поручик Радев и полицейский агент Каркалашев убили Петко Д. Петкова. Депутат-земледелец, сторонник Единого фронта коммунистов и земледельцев, он в течение многих месяцев требовал от премьер-министра Цанкова и министра внутренних дел Русева объяснений по поводу убийства Стамболийского. В протоколах заседаний Народного собрания сохранились последние, полные мрачного пророчества слова Петкова. Он понимал, что пришедшее к власти правительство «Демократического сговора»¹ (по существу фашистское, хотя слово «фашизм» еще не вошло тогда в политический словарь Болгарии) не удовлетворится ни переворотом, ни кровавым подавлением Сентябрьского восстания, когда страну покрыли тысячи безвестных могил. 8 февраля этот уцелевший соратник Стамболийского обратился с запросом к Славейко Василеву, бывшему начальнику гарнизона в Пазарджике:

¹ «Демократический сговор» — организация крупной болгарской буржуазии, ставившая своей целью объединение всех сил реакции для борьбы с растущим революционным движением. Возникла в 1923 году. Ядром ее стала партия А. Цанкова «Народный сговор», к которой после переворота 9 июня присоединились народно-прогрессивная, демократическая и радикальная партии. «Демократический сговор» распался после поражения на выборах в 1931 году. — *Прим. перев.*

— Скажите, господин Василев, на основании какого приказа вы передали Стамболийского Харлакову, после чего последовало его убийство?

Это больше чем дерзость. Со скамей сговористов раздаются злобные голоса:

— Молчи, ты!

Но Петков не умолкает. Слишком часто приходилось ему молчать, отдавая последнюю почесть убитым, слишком много теней замученных теснятся в его памяти, чтобы он мог позволить себе молчать.

— Я требую, чтобы убийцы были привлечены к ответственности!

И тогда на трибуну вышел министр внутренних дел Русев. Встреченный зловецем «ура» депутатов-сговористов, он указывает на Петкова и с недвусмысленным намеком спрашивает:

— Господин Петков, можете вы, положив руку на сердце, заявить вот тут, перед всеми, что вы сейчас, в эту самую минуту, не занимаетесь подрывной деятельностью?

Сговористы в восторге аплодируют.

Но слова министра словно бы не трогают Петкова. Он поднимается над этим бушующим злобным морем, спокойный и уже обреченный.

— Лучше скажите, господин Русев, вы сами сейчас, в эту самую минуту, не замышляете новую ловушку для своих политических противников и не готовите здесь, в Софии, новой варфоломеевской ночи?

Эти слова вызывают у убийц тревогу и страх, потому что в них истина. И Петков бесстрашно повторяет их еще раз на этом памятном заседании Народного собрания, когда он, молодой, едва достигший тридцати трех лет депутат, окончательно подписал себе смертный приговор:

— Я с полной ответственностью утверждаю, что если кто и занимается сейчас конспиративной деятельностью, то это полиция господина министра внутренних дел, которая готовит сейчас против нас большой процесс и, может быть, рассчитывает с его помощью поставить нашу организацию вне закона. Для этого ей нужны «доказательства»... И тогда полиция арестовывает сорок земледельцев и побоями заставляет их дать подписку в том, что я занимаюсь

противозаконной деятельностью. Это было в Сливнице...

Со скамей правительственных депутатов раздается возглас:

— Докажите!

И тут стоящий на трибуне оратор достает из портфеля окровавленные рубашки и поднимает их над залом:

— Вот они, доказательства!

И в наступившей тишине пламенный сторонник Единого фронта коммунистов и земледельцев указывает на скамьи министров:

— Вот кто у нас конспираторы! Убийцы и конспираторы сидят за министерскими столами.

Это были последние слова Петко Д. Петкова, произнесенные им в парламенте.

Эхо этих слов еще раз прозвучит в этом зале — на следующий день после его убийства. Депутат-коммунист Тодор Страшимиров выйдет на ту же трибуну и, указав на министров фашистского правительства, произнесет обвиняющие слова:

— Вот убийцы Петкова! Они заседают вместе с нами...

А накануне вечером после убийства Петкова офицеры из Третьей секции собрались в одном из самых дорогих тогдашних ресторанов. Не было только поручика Радева. Но вот и он. Распахивается двустворчатая дверь зала, поручик привычным жестом стряхивает с мундира невидимые пылинки и подсаживается к приятелям. Как будто бы ничего не случилось.

В протоколах судебного процесса, состоявшегося тридцать лет спустя, есть такая запись:

Прокурор. Когда во время ужина в ресторане пришел поручик Радев, вы не заметили у него каких-либо следов смущения или угрызений совести?

Подсудимый. Его такие дела не смущали.

Прокурор. Он говорил что-нибудь об убийстве Петко Петкова?

Подсудимый. Нет. Но было ясно, что все прошло хорошо.

В день похорон Петкова, когда траурная процессия приблизилась к месту убийства — там, где улица Раковского скрещивается с Московской, — от нее от-

делилась согбенная фигура женщины в черном и упала на каменные плиты тротуара. Это была мать Петко Петкова. Руки ее жадно ласкали щербатый камень, впитавший в себя кровь ее сына, ее собственную кровь...

В те годы фашистам было еще не слишком легко вершить свои преступления. Даже Муссолини, который поднялся на итальянский политический небосклон при помощи насилия и грубых фальсификаций, еще не до конца разрешил эту проблему. Весной того же 1924 года депутат Маттеотти, генеральный секретарь Унитарной социалистической партии, рассказал в парламенте об убийствах и насилиях и обвинил в этом фашистов. Речь его неоднократно прерывалась криками депутатов-фашистов:

— Вон из Италии! Твое место в большевистской России!

Когда Маттеотти сошел с трибуны и друзья стали поздравлять его с блестящей речью, он горько усмехнулся:

— А сейчас можете писать мой некролог...

Маттеотти был заколот кинжалом в машине, тело его выбросили на пустыре близ дороги. Но... нашлись люди, которые видели, как депутата насильно затащили в машину. Они описали ее, потребовали следствия. Поднялась вся Италия, люди вышли на площади. Казалось, начинается революция. И Муссолини — можно себе представить, чего ему это стоило, — должен был публично заявить, что он потрясен убийством и сурово покарает убийц. Он даже подал в отставку с поста генерального секретаря фашистской партии! Чтобы выждать, пока народ успокоится, а затем с еще бóльшим остервенением продолжать начатое. Целых двадцать лет...

Болгарским фашистам была ни к чему вся эта демагогия — клеймить убийц, подавать в отставку. Они имели дело с народом, который всего лишь несколько месяцев назад поднялся на восстание, настоящую, классовую, бескомпромиссную революцию. Когда свистят пули и полыхают пожары, риторика и театральные позы в значительной степени теряют свой блеск. Что, правда, вовсе не означало,

что болгарские правители отказывались от этих неизменных атрибутов любого фашизма. Иначе какими же они были бы фашистами! Но их задача была гораздо сложнее. Потому что, прежде чем стать «вождями нации», им надо было растоптать огонь революции, еще пылающий в глубочайших недрах народа, в самой его душе.

Итак, военному министру Болгарии крайне необходимо прежде всего разоблачить «противозаконную» деятельность виднейших коммунистов. Он еще не убежден, что уже все знает о Коммунистической партии, которая разгромлена лишь на страницах правительственных газет. Генерал Вылков не склонен предаваться иллюзиям, он безошибочно разграничивает «безвозвратное уничтожение коммунистов», о котором трубит его пропаганда, и истинное положение дел.

Необходимо заставить заговорить кого-нибудь из деятелей поставленной вне закона Коммунистической партии. Те коммунисты и земледельцы-единофронтовцы, которые пали убитыми на улицах Софии, уже не могут ни о чем рассказать. В который раз ускользает из рук Станке Димитров, оргсекретарь ЦК Коммунистической партии. Неудачной оказалась и попытка взять живым его заместителя Яко Доросиева: во время перестрелки у Докторского сада, окруженный офицерами Третьей секции, Яко Доросиев, чтобы не попасть в руки палачей, предпочел покончить с собой. Преследовавшийся вместе с ним Марко Фридман, один из руководителей Военной организации партии, был ранен, но успел прыгнуть в проходивший мимо трамвай и скрылся от своих преследователей.

В Дирекции полиции были кое-какие сведения о местопребывании Вылчо Иванова, члена Центрального Комитета партии и секретаря Софийской партийной организации. Военный министр затребовал к себе эти сведения и возложил на офицеров Третьей секции задачу выследить и арестовать Вылчо Иванова.

Утром 12 февраля Вылчо Иванов вышел на улицу Раковского и остановился перед киоском на углу улицы Гурко, чтобы купить газету. Полистал журнал «Обозрение виноградарства» — между его страни-

цами арендатор киоска, двоюродный брат Вылчо Иванова Цветан Пановский, прятал партийную корреспонденцию. На этот раз там оказался маленький, сложенный вдвое листок бумаги. И тут из-за киоска вышли двое.

— Не двигаться, ты арестован!

Выхода нет... Впрочем, есть!

Вылчо Иванов идет под конвоем двух человек в темной штатской одежде, в одинаковых фетровых шляпах. Они приближаются к казарме пехотного полка, проходят через охрану. Здесь конвоиры несколько ослабляют надзор и заводят между собой какую-то беседу. Тогда Вылчо Иванов тихонько опускает руку в правый карман пальто. Его пальцы трут и рвут бумажку, содержания которой уже никто и никогда не узнает. Когда он выбрасывает обрывки, двое замечают его движение, но это уже не имеет никакого значения. Один, отстав, начинает собирать бумажные крошки. И долго потом рассматривает лежащие на ладони клочки с размазанными следами букв, которые, быть может, содержали что-то чрезвычайно важное.

«Бумага не скажет ничего. За себя я спокоен».

Как много в литературе описаний героизма! Горы слов о мужестве, о стоицизме, о стальной силе революционеров. Так много, что мы почти перестали удивляться самому героизму и воспринимаем его как естественное состояние человека, попавшего в руки врага. Скучные сведения о допросе Вылчо Иванова в так называемой «холостяцкой» комнате пехотного полка и признания подсудимых на процессе 1954 года раскрывают суровую, неприкрашенную правду. Чем глубже я вникал в нее, тем сильнее было мое чувство гордости за человека и коммуниста, восхищение его стойкостью. И я подумал, что ни одно художественное произведение не может с такой силой раскрыть нам то, что дает прикосновение к подлинной жизни.

Тут не могло быть и речи о том, чтобы вести какую-либо игру, запутать противника или выиграть время. Целый день на грубо сколоченном казарменном столе в комнате, где был заперт Вылчо Иванов,

лежали нетронутыми листы белой бумаги. На верхнем крупными буквами вопросы, на которые задержанный должен был ответить: «Кто...», «Где...», «Как...»

Вечером в комнате появились офицеры Третьей секции. Допрос вел старший по званию — майор Порков. Рядом капитан Кочо Стоянов. Остальные — кольцом вокруг арестованного.

— Кто руководители партийных секций?

— Не знаю.

— Каковы планы Военной организации вашей партии?

— Не имею сведений.

— Адреса подпольных квартир тех, с кем ты работаешь?

— От меня вы их не узнаете.

— Что было написано на листочке, который ты порвал?

— Этого вы никогда не узнаете.

— Мы прочли все, что там было. Нам только нужно, чтобы ты подтвердил. Если хочешь выйти отсюда живым...

— Ничего вы не знаете. И не узнаете никогда!

И тогда на него набросился Кочо Стоянов. Занятия боксом сделали его удары сильными и оглушающими.

После того как арестованный пришел в себя, допрос продолжается. Беззащитный человек с трудом держится на стуле, кольцо вокруг него сжимается, все меньше воздуха, все труднее становится дышать.

— От меня вы ничего не узнаете.

Окна комнаты завешены одеялами, на грязных стенах качаются тени палачей. Огонек керосиновой лампы становится все слабей и слабей...

Выход для себя он нашел — молчать до конца.

А что же палачи?

«Приближалась полночь. Несмотря на побои, задержанный отказывался давать показания. Тогда майор Порков сказал, что он не видит никакого выхода из создавшегося положения, и ушел. Мы поняли, что он отправился к генералу Вылкову за дополнительными указаниями».

Генерал ожидал своего сотрудника. Но когда в дверях появился майор, мрачный, в расстегнутой

шинели, с взлохмаченными, вылезающими из-под фуражки прядями волос, он только нервно прищелкнул пальцами. Можно не докладывать: ясно, что из этого упрямого коммуниста ничего не удалось вытянуть.

— Жду ваших приказаний, господин генерал!

— Продолжайте допрос, а если будет по-прежнему молчать, сами знаете, как нужно поступить...

С поля этого сражения генерал ушел побежденным.

А выигравший битву человек, пошатываясь на стуле, собирает последние силы, чтобы произнести свою единственную фразу:

— Ничего я вам не скажу!

Неожиданно палачи замолкают. Один из них выходит из комнаты и вскоре возвращается: наверное, что-то принес...

— Не оборачиваться!

Перед Вылчо Ивановым стоит офицер, не сводя с него отяжелевшего, налитого кровью взгляда.

— Не двигаться!

Свист веревки над головой, громкий крик врывается в уши, в грудь проникает последняя струйка воздуха...

И, собрав последние силы, он бьет ногой стоящего перед ним офицера.

Потом он выпрямляется, веревка, затягиваемая с двух сторон, раскачивает его и превращает его последние шаги в странный, нереальный, бесконечный танец этой ужасной ночи, поглотившей, кажется, весь воздух мира...

— В убийстве Вылчо Иванова принимали участие все здесь присутствующие, всего шесть человек.

— Он оказал какое-нибудь сопротивление?

— Да, мы ведь впервые убивали таким способом. Началась борьба, он встал. Хорошо помню, что, поднимаясь, он ударил меня ногой в низ живота, от чего я почувствовал нестерпимую боль... Я чуть не потерял сознание...

— Потом?

— Потом мы оставили труп на улице, и один журналист увидел его из окна и на другой день написал об этом в газете. Это было около трех часов пополудни.

На следующий день Иосиф Хербст действительно рассказал в своей газете «Ек» о трупе, брошенном на улице Гурко. В статье открыто обвинялись люди, стоящие у власти: «Было ясно, что убийцы отнюдь не боятся, что их преступление будет раскрыто и что их могут арестовать. Напротив... Они явно располагали безопасным местом, где было совершено убийство, и современным транспортным средством, автомобилем, чтобы отвезти и бросить посреди улицы задушенного человека... Палачи настолько хорошо делали свое дело, что, можно подумать, изучали его на каких-нибудь курсах...»

Об убийстве видного коммуниста писала и газета «АБВ», которую тоже редактировал Иосиф Хербст. В заглавии заметки стоит слово «Злодеяние». Разумеется, ее можно было понять и как обычную уголовную хронику: «Существует предположение, что этот человек был задушен... На шее у него была найдена дощечка с надписью...» Но как заканчивалась эта краткая заметка! Читайте:

«Начато следствие, которое должно раскрыть как причины убийства, так и виновников злодеяния».

О каком следствии, о каком наказании мечтает Иосиф Хербст? Можно подумать, что кто-то и вправду собирался привлекать к ответственности виновников этого убийства!

Однако в том же номере «АБВ» редактор счел необходимым поместить некую реплику, бьющую профессора-палача Цанкова по самому больному месту. Только наивный человек мог думать, что между двумя этими газетными публикациями нет никакой связи. Недаром эта реплика нашла свое место в досье Иосифа Хербста, заведенном на него в Дирекции полиции.

Даже сейчас, спустя столько лет после этих событий, нелегко представить себе меру мужества, породившего такие откровенные и сильные слова. Реплика комментирует одну из речей премьер-министра, произнесенную в Пловдиве.

Мы, сказал Цанков, не можем уступить власть по собственному желанию, потому что должны думать, кто придет к нам на смену. А на вопрос, кто, по его мнению, сможет сменить нынешнее правительство, премьер-министр ответил, что наследников себе

он не видит. «Кто они?» — растерянно спрашивал Цанков.

И газета продолжает: «В самом деле, остается только удивляться теории господина Цанкова, считающего, что, прежде чем передать кому-нибудь власть, он должен узнать и оценить своих преемников. Однако если оставить в стороне эти не стоящие критики высказывания премьер-министра о переменах в управлении страной (которые, впрочем, можно было бы опровергнуть, приведя в пример одни лишь события 9 июня, когда Стамболийский не только не мог выяснить, кто будет в состоянии его заменить, но даже и не подозревал о существовании «наследников», которые пришли к власти после него), то его слова — прямое отрицание элементарных представлений о демократии, которой так кичится его партия».

Конец реплики окончательно раскрывает позицию автора: «Не прав господин Цанков, от которого болгарское общество постоянно слышит, что оно может дышать только благодаря ему и что если он уйдет, жизнь в стране остановится. Болгария теряла и не такие легкие, а, слава богу, все еще продолжает свое существование».

Я видел эту вырезку, хранящуюся в архивах Дирекции полиции. Каждая строчка в ней сверху донизу была подчеркнута красным карандашом. Не было пропущено ни единого слова. Непокорный журналист не мог больше ни на что рассчитывать.

Судьба газеты «АБВ» была предрешена.

А судьба ее редактора?

Но не будем опережать событий.

Уже мертвый, Вылчо Иванов «не спешит» оставить поле битвы. По требованию генерала Вылкова полиция приказала провести похороны коммунистического руководителя «тихо и бесшумно». Софийским рабочим было специально запрещено принимать участие в похоронной процессии.

Рабочие «выполнили» приказ. Не было ни митинга, ни траурного шествия. Но в назначенный час они покинули свои фабрики и заводы и шеренгами выстроились вдоль улиц, по которым должна была пройти процессия с гробом убитого. Так, несломленный, прошел он свой последний путь, словно проплыл

по реке, искрящейся гневными взглядами. И по обоим ее берегам с шапками в руках стояли его братья по классу и по духу, незаметно посылая ему свой последний привет.

В стенограммах Народного собрания сохранился запрос нескольких уцелевших депутатов-коммунистов, адресованный премьер-министру и министру внутренних дел, о том, что сделано для выявления виновников смерти Вылчо Иванова. И опять на трибуне министр внутренних дел Русев. Что он может сказать, если обстоятельства дела очевидны для всех? Однако у него, оказывается, есть «собственное» мнение по этому вопросу.

— Вы,— восклицает он, указывая на коммунистов и земледельцев,— имели наглость сочинить примитивную легенду о том, что Вылчо Иванов был вызван в 8-й полицейский участок, там задушен, а затем выброшен на улицу. Эта легенда прежде всего примитивна, господа!

Словечко «примитивно» — одно из самых любимых в словаре господина министра. Произносится оно подчеркнуто — надо намекнуть сговористам, что в этом месте они должны аплодировать. Русев испытывает особую потребность в овациях, потому что иначе красноречие его иссякает очень быстро.

— Если власть,— продолжает министр,— сочтет нужным устранить кого-либо, неужели она будет действовать так примитивно? А есть и другая молва: вы сами его убили, потому что думали, что он вас предал... И труп его вы сами нарочно выбросили на улицу, чтобы спровоцировать и опозорить власти. Вот это выглядит гораздо логичнее, и мне хочется в это верить!

Здесь сговористские депутаты, не дожидаясь, пока оратор переведет дух, спешат наградить его аплодисментами. Вдохновленный ими, министр Русев продолжает речь:

— Но мы не остановимся ни перед какими мерами, чтобы вас раздавить! И раздавим! (Аплодисменты и одобрительные возгласы со стороны сговористов.)

Министр целиком в своей стихии. На мгновение он овладевает собой и коварно-спокойным голосом обращается к коммунистам и земледельцам:

— Что, в сущности, представляет собой ваш Единый фронт? Это не политическая партия, и потому мы против него. По какому недоразумению здесь оказались его представители, не понимаю!

Это откровенный намек на подготавливаемое правительством изгнание депутатов Коммунистической партии из Народного собрания.

Но изгнание коммунистов из парламента — слишком долгая процедура, по мнению нетерпеливых правителей, — вовсе не означает отказа от испытанных средств — выстрела в упор, петли из тонкой упругой веревки. Фашисты предпочитают эти средства не только потому, что исходят из проверенной истины: «враг безопасен, когда он мертв», им нужен еще и психологический эффект — ввергнуть в страх непокорных. Разрабатывается детально продуманная и все предусматривающая схема: убийство совершает одетый в штатское офицер Третьей секции, затем его начинает преследовать группа специально проинструктированных полицейских, но так, чтобы дать тому возможность скрыться. Если окажется, что на глазах собравшихся людей сделать это неудобно, то убийцу хватают и доставляют в ближайший полицейский участок, где тот, дождавшись ночи... спокойно отправляется к себе домой или в казарму.

Через пять дней после того, как был задушен Вылчо Иванов, погибает от выстрела депутат-коммунист Тодор Страшимиров. Это уже четвертый депутат, убитый на улице. Правда, большинство софийских газет удовлетворяется тем, что описывает этот случай как обычное уличное происшествие, убеждая читателей, что здесь, скорее всего, имеет место сведение личных счетов... Близкая к правительству пресса вновь довольно неуклюже намекает, что убитый депутат Страшимиров, потеряв якобы доверие своих единомышленников, стал жертвой каких-то внутренних распрей среди коммунистов. Но некоторые газеты, «АБВ» например, весьма дерзко пытаются высказать и несколько другую точку зрения. Одни заглавия чего стоят: «Бесконечная вереница...» Или: «Еще одно злодеяние...» Досье непокорного Хербста в Дирекции полиции и так было достаточно объеми-

сто, а он еще позволял себе добавлять в него новые документы.

Я листаю протоколы заседаний Народного собрания и словно бы слышу глубокий, полный гнева и горя голос депутата Варны, коммуниста Тодора Страшимирова. Ему сорок пять лет — возраст зрелых размышлений, сгоревших иллюзий. Такой человек не мог не видеть опасности, на которую он шел, но и не мог обойти молчанием память своих сраженных товарищей.

— Вы уничтожили множество интеллигентов. Зачем? — спрашивает он министров Цанкова. — Вы и ваши люди в Варне, где не было никакой революции, убили моего друга детства Димитра Кондова, который за те семнадцать месяцев, что он был мэром Варны, при содействии коммунистов сделал для города столько, сколько буржуазия не смогла сделать за сорок лет.

Справа, там, где сидят депутаты-сговористы, раздаются голоса:

— Довольно агитации! Лишить его слова!

Но Тодор Страшимиров не удостаивает их ответом, он по-прежнему указывает на министров:

— Вы убили множество других представителей болгарской интеллигенции. Под Татар-Пазарджиком вы устроили резню, которая ничем не отличается от той, какую в свое время учинила белая гвардия Венгрии. Как и белая гвардия Финляндии, вы перебили тысячи рабочих — мужчин и женщин. Как и в Америке, вы уничтожили множество виднейших представителей коммунистического движения. Вот истинное лицо вашего режима!

Со стороны сговористов нарастает угрожающий шум. Но, словно подстегнутый его волной, смелый трибун еще выше поднимает свой голос:

— Да, я закончу свою речь, но закончу ее словами русского поэта:

Настанет пора, и проснется народ,
разогнет он могучую спину

И вы увидите, что оно, это время, придет, и это будет господство рабочих, господство единого фронта всех тружеников городов и сел...

Страшимиров спускается с трибуны, но вместо того, чтобы сесть на свое место, подходит к столу министров и энергичным жестом вручает министрам внутренних дел и юстиции свое письмо-запрос.

«Что сделано,— спрашивает в нем депутат-коммунист,— чтобы выяснить, при каких обстоятельствах убито множество арестованных и затем изъятых из тюрем невинных людей? Кто те безответственные элементы, которые могли приказать органам полиции узурпировать права следственных властей и прокуратуры? Не думают ли господа министры, что настало время начать следствие по поводу всех этих неслыханных преступлений?»

Ответ напрашивался сам собой. Раз коммунист Страшимиров так настаивает на выяснении обстоятельств всех этих неслыханных преступлений, раз ему так хочется узнать, что за безответственные элементы их осуществляют, надо дать ему возможность встретиться с ними лично.

...Вслед за Тодором Страшимировым шагает некая неизвестная личность в темном пальто, с засунутыми в карманы руками. Страшимиров выходит на бульвар Дондукова, сворачивает на улицу Сердика. Февральский день сравнительно тепл, улица полна народа, тем более что приближается вечер — время наибольшего оживления здесь, в самом центре столицы. Неизвестный, поравнявшись с депутатом, выхватывает пистолет и стреляет ему в голову. Поднимается суматоха. Убийца, не успев спрятать пистолет, бросается бежать. Но происходит непредвиденное — вслед за ним бросаются несколько человек. Среди них один случайно оказавшийся рядом офицер, который решил, что его долг — поймать преступника. Убийца без долгих раздумий оборачивается и, выстрелив в офицера, исчезает в переулке, где его уже ожидают «свои», чтобы «арестовать». Очутившись у них в руках, он наконец свободно переводит дух.

А в это время, спустя всего минуту после убийства, к месту, где лежит застреленный Страшимиров, приближается один из министров Цанкова. Он видел все, укрывшись в одном из подъездов на другой стороне улицы. Полицейские отгоняют любопытных прохожих, министр бросает беглый взгляд на лицо

убитого и удаляется, небрежно размахивая лакированной тростью.

Это один из самых характерных моментов в режиссуре убийств. Чуть ли не каждый выстрел, направленный против кого-либо из видных представителей оппозиции, происходит в присутствии члена правительства. Зачем им это было нужно? Чтобы убедиться в гибели еще одного противника? Или чтобы проявить власть, если события примут неожиданный оборот? А может, просто из любви к сильным ощущениям?

На следующий день после похорон Страшимирова родные снова пришли на его могилу. И сквозь слезы, застилавшие глаза, увидели, что вместо свеже-насыпанного черного могильного холмика перед ними возвышается гора венков и цветов. Они поняли: в поздние ночные часы, тайно от властей, сюда приходили соратники погибшего, преследуемые, вынужденные днем скрываться подпольщики, приходили, чтобы отдать последнюю почесть своему боевому товарищу. Цветы появляются на могиле и на другой день, и на следующий — в течение многих недель.

Иногда к могиле приходит брат убитого, писатель Антон Страшимиров, одинокий, ссутулившийся, погруженный в думу человек. Пронизывающий февральский ветер еще сильнее раздувает скорбь в его душе. Но в эти минуты безмолвного разговора с братом в ней рождается неожиданное прозрение, раскрывается суть неизменных законов борьбы, силы человеческого духа, смысл жертв, без которых у народа нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего...

После одной из таких безмолвных бесед с братом писатель, озаренный белым сиянием укрывших могилу цветов, впервые после страшного дня убийства берется за перо. Сам испытывший горечь сиротского детства, он пишет письмо племяннику, сыну Тодора Страшимирова:

«Я только что вернулся с могилы твоего отца. Вся она опоясана громадным венком из камелий (вся могила!), который темной ночью принесли сюда светлые души, те, за чье правое дело гордо, достойно, беззаветно погиб твой отец. Это не может осушить ваши и мои слезы, но и не может не смягчить их горечи.

Жду первой же возможности посетить вас, только вас и никого другого, потому что душа моя все еще ожесточена.

Целую вас всех, а особенно тебя, ведь ты — самый младший и, значит, острее и дольше всех будешь чувствовать свое сиротство. Целую тебя еще раз...»

Так рядом с идейно цельной личностью коммуниста Тодора Страшимирова встает драматическая фигура его брата Антона. Этот беспокойный дух, этот человек, чьи идейные искания знают и странные колебания, и полное бессилие перед законами общественной борьбы, в решающие минуты всегда самоотверженно становился на сторону народа. Человек, испытывавший недоумение, сталкиваясь с революционным оптимизмом рабочего класса, и не разделявший взглядов своего брата, после всех этих трагических событий искренне преклонился перед его идеалами. Сентябрьское восстание и все, что за ним последовало, с гневной силой всколыхнули его чуткую к жизни общества душу. Смерть брата принесла ему еще и личное горе. И слово его, резкое, накаленное всем, что происходило вокруг него, яростно обрушилось на непробиваемую совесть убийц.

«С Тодором Страшимировым я познакомился, мне кажется, в штабе Второй армии, при котором он был корреспондентом. И если бы он был сейчас в живых, он мог бы сказать обо мне несколько добрых слов...»

Это слова обвиняемого генерала в отставке Ивана Вылкова, сказанные в августе 1954 года в переполненном зале суда. В зале среди родственников погибших находились и близкие Тодора Страшимирова. Слова обвиняемого Вылкова прозвучали так неожиданно вызывающе, что зал долго не мог успокоиться. Глухой ропот со всех сторон обрушился на старого палача, столь неуместным способом попытавшегося вызвать к себе сочувствие.

В самом деле, что хорошего мог бы сказать убитый о своем убийце?

В один из зимних дней 1925 года премьер-министр Цанков принял у себя в доме генерала Вылкова. Военный министр познакомил премьера с планом

Военного союза, рассчитанным на дальнейшую борьбу с «врагами государства и законной власти», а также представил ему проект секретного приказа командирам гарнизонов и воинских частей всей страны.

От их встречи, разумеется, не осталось никаких протоколов. Только приблизительно — по скудным признаниям подсудимого Вылкова — можем мы восстановить этот разговор.

— Наши действия слишком разрозненны, господин Цанков! Мы боремся против отдельных лиц, а эту борьбу необходимо вести широким фронтом. Таковы законы битвы!

Цанков полностью разделяет мнение военного министра. Но у него есть и некоторые свои соображения. Впрочем, сначала он выслушает план Вылкова и его коллег по Военному союзу.

— Командиры гарнизонов должны связаться с администрацией городов и вместе с ней подготовить списки подозрительных элементов, а затем в назначенный срок по данному нами приказу приступить к их ликвидации...

Профессор Цанков держит в руках проект генерала. Как и подобает «профессору», он изучает и оценивает достоинства рукописи. Медленно, многозначительно произносит:

— Твоим военным, генерал, приказывать нужно четко и прямо! Напишешь так: составить списки наиболее смелых и способных людей, то есть тех, кто больше всего влияет на настроение народа. Прямо и без оговорок укажешь, что к этой категории относятся прежде всего интеллигенция. Твои военные, генерал, как только слышат слово «интеллигенция», сразу понимают, о ком идет речь.

И профессор начинает беззвучно трястись — этим подобием смеха он обычно сопровождает высказывание своих самых затаенных мыслей.

Откровенность Цанкова не удивляет генерала. Собеседники ничуть не похожи друг на друга: один — словоохотливый, несдержанный циник, другой — человек дела и твердой руки, осторожный, молчаливый. Судьба случайно свела этих двух кандидатов в «вожди нации», но преступления, которые они совершают вместе, рождают между ними своеобраз-

разную солидарность. Разумеется, это не мешает генералу поддерживать, кроме того, особо близкие, доверительные отношения с царем. На всякий случай. Ведь совсем нетрудно предугадать, что грубый и не слишком дальновидный профессор рано или поздно неминуемо свернет себе шею.

— Слушаюсь, господин Цанков, в приказе будет прямо названа интеллигенция.

Вылков застегивает шинель и торопливо прощается. На этот вечер у него назначена еще одна встреча. Борис III тоже должен благословить планы окончательного уничтожения врагов короны и государства, подготовленные Военным союзом. К тому же его величеству наверняка будет небезынтересно узнать о сегодняшнем разговоре с Цанковым.

Может быть, именно здесь стоит напомнить, что в свое время царь был первым, кто «по достоинству» оценил честолюбивого начальника Картографического института, тогда еще полковника, Вылкова. Борису понравились его твердость и целеустремленность. И не случайно, что до самой своей смерти царь часто обращался к Вылкову за помощью, тем самым еще больше разжигая его честолюбивые планы и способствуя его продвижению по служебной лестнице. А Вылков был не из тех, кто легко отказывался от подобных вещей.

Разумеется, близость между ними отнюдь не выходила за строго определенные рамки, которыми двуличный монарх так ловко умел ограничивать свои отношения с нужными ему людьми.

— Вылков, расскажите об убийствах антифашистов, совершенных по вашему приказу офицерами Третьей секции.

— О том, что в некоторых казармах в апреле 1925 года совершались убийства, я узнал из разговоров, и к тому же гораздо позднее. Никто из начальствующих офицеров не докладывал мне об этом. (Шум в зале.)

— Не вспомнит ли обвиняемый Вылков об одном из приказов военного министра, то есть вашем, изданном еще до апрельских событий?

Вот некоторые отрывки из него:

«Все гарнизоны и воинские подразделения должны связаться с местными органами власти, чтобы со-

гласовать средства борьбы против коммунистов и земледельческих «дружб»¹. Прежде всего необходимо ликвидировать самых смелых и способных приверженцев их идей — представителей интеллигенции. Необходимо в кратчайший срок составить списки таких людей, чтобы ликвидировать всех руководителей — виновных и невиновных...»

— Вы написали эти слова, Вылков?

— Из самой формы изложения видно, что это не мой стиль. (Возбуждение в зале.)

— Я могу напомнить вам и другое место:

«Каждый схваченный должен быть осужден и казнен в течение двадцати четырех часов. Бунтовщиков казнить на глазах у их сообщников. Тех, кто откажется подчиняться офицерам, немедленно расстреливать.

Смертная казнь каждому, кто разгласит что бы то ни было из данной инструкции».

И в конце:

«Вместо меня и других руководителей придут вторые, третьи и так далее руководители, готовые с той же энергией бороться за изложенный выше идеал...»

Это тоже не ваш стиль? Я вас спрашиваю, Вылков! (Подсудимый отказывается отвечать.)

Это лишь несколько характерных реплик из протоколов судебного процесса. Они дают известное представление о семидесятивосьмилетнем палаче в генеральском мундире, который неумело пытается уйти от прямых ударов обвинения: «Никто не докладывал мне об этом...», «Узнал из разговоров, и к тому же гораздо позднее...», «Это не мой стиль...» И все же одно дело — подсудимый Вылков 1954 года и совсем другое — военный министр генерал Вылков тридцатью годами раньше. В газетах тех лет я не раз видел его снимки: суровое, непроницаемое лицо, поджатые губы, пронизывающий взгляд. Настоящий образец «избранной личности», скороспелый Гитлер, возникший на болгарском небосклоне.

¹ «Дружба» — низовая организация партии Болгарский земледельческий народный союз. Отсюда «дружбаши» — пренебрежительная кличка, данная врагами членам БЗНС.— Прим. перев.

Он ощущал на своих генеральских плечах груз им самим же выдуманной «исторической» миссии — навсегда вырвать из болгарской земли цепкие корни большевизма, которые так щедро питала победившая в России революция. Строгий порядок, казарменная дисциплина, безгласная покорность — дальше этого не шли его представления об образцовом государстве.

Но как этого достичь?

Известные ему средства борьбы до чрезвычайности примитивны: 9 июня 1923 года — жестокая расправа со Стамболийским и его приверженцами; во время Сентябрьского восстания — массовые избиения непокорных рабочих и крестьян; после восстания — убийства на улицах, «пропавшие без вести», самосуды.

Но, несмотря на все эти усилия, целых два года после переворота 9 июня генерал не мог увидеть настоящих плодов своей борьбы. Полный фанатической непримиримости, он должен был теперь либо признать свое поражение, либо сделать еще один шаг — решающий, крайний.

И он делает этот шаг.

Тайный приказ, обрекающий на смерть «самых смелых и способных», то есть тех, кто имеет другие представления об общественном и государственном порядке, вступает в силу.

Вместе с правительством, чью волю он выполнял, вместе с монархом, который коварно его науськивал, генерал Вылков пошел против разума и совести своего народа, против его будущего. Против самой истории.

Я искал эти чудовищные списки и в архивах Дирекции полиции, и среди уцелевших документов бывшего министерства внутренних дел — нигде никакого следа. Наверное, их составляли по законам самой строгой конспирации и доступ к ним имели лишь очень немногие — руководители Военного союза, Цанков. Даже сам глава полиции, осуществивший немало арестов, не располагал полными списками, он лишь выполнял приказы, идущие «сверху», фактически от самого Вылкова. В архиве бывшего Отде-

ла Общественной безопасности я видел папки с так называемыми «заданиями», возложенными на полицейских агентов,— слежка, аресты. Сначала «заданий» по арестам сравнительно немного — ведь еще не наступил «срок», упомянутый в приказе военного министра. Но зато сообщения о слежке заполняют папку за папкой с невероятной быстротой. Отмечается час каждого поступившего от агента донесения. Точно и подробно описывается внешность лиц, взятых под наблюдение.

Все это будущие жертвы: учителя и редакторы газет, врачи и адвокаты, профсоюзные деятели и партийные активисты, студенты и офицеры, депутаты и счетоводы. Особое место занимают писатели и журналисты. Их досье самые обширные и самые красноречивые. Потому что оружие, которым они пользуются,— слово — столь же остро и разяще, сколь уязвимо и незащищено. В каждой написанной ими строчке, содержащей хотя бы намек на недовольство, копались грубые, окровавленные руки. Я видел поэму Гео Милева, захлестнутую красными петлями полицейского карандаша. Осажденные, задыхающиеся стихи прорывались сквозь них с какой-то трагической решимостью, прожигая бумагу и сливаясь с дыханием жизни. Это уже были не слова, не дух, не поэзия, а сама жизнь, растоптанная, сраженная, задушенная.

Рядом с поэмой пламенного Гео Милева я видел вырезки из газеты «Работническо единство» со статьями руководителя рабочих профсоюзов коммуниста Жеко Димитрова, простыми и откровенными, как сама жизнь этого потомственного пролетария. Элегические видения Христо Ясенова, среди которых угадывались реальные очертания обновленного Петрограда, соседствовали с суровыми и твердыми строками журналиста Николая Грамовского — пролетарского Одиссея, прошедшего баррикады Берлина, гражданскую войну в России, бушующее море Венгерской революции и вернувшегося к родным болгарским берегам. Рядом с патетическими песнями Сергея Румянцева, посвященными милой его сердцу крестьянской Болгарии, хранились непримиримые строки Анны Маймунковой. Статьи Иосифа Хербста, публициста с необыкновенно сильным и честным та-

лантом, были достойны лежащих рядом пролетарских гимнов Васи́ла Карагьозова...

В досье Анны Маймунковой я нашел копию ее письма к сестре (полиция следила за личной перепиской намеченных жертв). Письмо было подколото к вырезке из газеты «Работничка», — по-видимому, они были доставлены в полицию в один и тот же день. Статья Маймунковой дышит гневом против действий правительства, грабящего и угнетающего трудовой народ, и заканчивается фразой, проникнутой несокрушимым оптимизмом: «Никакой, даже самый страшный террор не поможет удержаться правительству, которое не служит интересам народа!» А письмо? Печальное раздумье, крик души: «Возврата нет! История требует жертв, и их не нужно ни жалеть, ни оплакивать... Ты ведь знаешь: мой удел — смерть. Отдых для моей измученной души...»

От этого письма на меня дохнуло глубокой драмой борца. Знали ли они, эти непримиримые рыцари духа, какой ужас ждет их впереди? Да, знали. Мысль человека отрицает смерть, не может ее принять — это закон для любой живой, мыслящей материи. Сколько долгих черных ночей провели они, вздрагивая от малейшего шума! Как тревожно бились их сердца, хрупкие, несовершенные, человеческие сердца... А утром, вновь подвластные долгу и гордому сознанию справедливости своей борьбы, они садились за стол и писали, с трудом переводя дух от волнения, которое помогало им найти самые точные и сильные слова протеста. Может ли кто-нибудь до конца постичь это состояние тревоги и мужества, страдания и гордости, цепящего ужаса и высокого благородства?

Мне кажется, никто и никогда!

А генерал спешил. Спешил и профессор, опьяненный кровавым вином власти. Из Варны и Кюстендила, из Плевена и Пловдива, из Русе и Бургаса — отовсюду по тайным каналам стекались к военному министру имена будущих жертв. Однажды утром Стара Загора проснулась в блокаде. Весь город был окружен плотным кольцом войск и полицейских частей. Были арестованы десятки «врагов государст-

ва». В Хаскове был убит коммунист Димитр Захариев, советник городского муниципалитета. Сообщение об этом убийстве послал в газету «АБВ» ее хасковский корреспондент Димитр Христозов (неожиданная встреча с именем моего отца, его протестующий голос, как ни скромно он звучал в общем хоре непокорных, наполнил меня особым волнением). «Убийца, как и следовало предполагать, не обнаружен», — тут же комментирует эту корреспонденцию Иосиф Хербст.

Сумерки сгустились над болгарской землей, на нее надвинулось нечто страшное, приползшее из мрачных времен варварства. В раскаленном воздухе трагическими искрами вспыхивают голоса «самых смелых и способных». Народ вспомнил о примере старых гайдуков. По приказу партии в Добрудже начинает действовать отряд Дочо Михайлова, человека, достойного стать героем эпоса любого народа. Бойцы отряда Кискинова и Ципоркова разбудили старые гайдуцкие тропы Среднегорья. Ушли в странджанские леса бойцы отряда Тодора Грудова. Родопские выси укрыли товарищей Митьо Ганева. В пещерах Провадии точили свои кинжалы парни из отряда Курдоолу. Поэт Георгий Шейтанов — мрачная внешность и ослепительно светлая душа — отложил книги и ушел в леса Тунджи и Марицы вместе со своей невестой Мариолой и верными кинжалом и револьвером.

Среди них есть и люди, которых история скупно называет «непоследовательными революционерами». И она права. Но мы, прежде чем их укорять, должны низко им поклониться.

Софийская Дирекция полиции уже расположилась в захваченном Народном доме Коммунистической партии, построенном на рабочие деньги. Массивное здание у Львиного моста, которое с такой любовью воздвигала вся пролетарская Болгария, стало для своих строителей страшной могилы. Пятиконечная звезда, выложенная в мозаичном полу вестибюля, залита кровью. Ее обдирают подбитые железом полицейские сапоги, но разбитая, окровавленная звезда не сдается. Уходящие на смерть взглядами вбирают ее в себя и поднимают ввысь,

навстречу жертвенным ветрам эпохи. Чтобы передать нам чистой и незапятнанной.

Быть может, я нарушаю свое обещание рассказывать обо всем этом хладнокровно, не позволяя перу уклоняться в сторону. Но есть вещи, которые сильнее воли, они берут тебя за руку и движут твоим пером, устремляя его к самым патетическим вершинам мысли. В такие минуты рушатся любые предварительные построения и ты невольно протягиваешь ладонь, надеясь прикоснуться к сиянию подвига, к могучей красоте борцов.

17 февраля стало для софийской полиции днем торжества. Наконец-то схвачен человек, о котором достоверно известно, что он занимается конспиративной деятельностью,— Елена Гичева. Первые данные о ней попали в полицию после убийства Христо Гюлеметова. Пронзенный вражеской пулей руководитель пловдивской военно-революционной организации партии перед смертью, собрав последние силы, проглотил страницы блокнота, на которых были записаны имена товарищей. Но вызванный полицией хирург вскрыл желудок убитого и извлек оттуда непрожеванные обрывки бумаги. Некоторые имена удалось прочесть. Одним из них было имя Елены Гичевой. С того дня полиция стала следить за каждым ее шагом.

Ее схватили поздно вечером, после того как удалось бежать и прорваться сквозь полицейский кордон укрывавшемуся в ее доме Атанасу Премянову. Премянов спасся, но Елену Гичеву, сотрудницу Военного центра ЦК, предоставившую свой дом для встреч и тайных заседаний партийного руководства, на этот раз схватили и препроводили в Дирекцию полиции.

Трудно представить, что пережила в следующие два дня хрупкая тридцатичетырехлетняя женщина, выросшая в уюте богатого дома под элегические романсы, звуки рояля и возвышенные разговоры. Газеты публикуют самые сенсационные предположения о ее деятельности, приписывают ей чудовищные тайные планы. На самом же деле дочь швейцарки Марии Инхельдер и болгарина Алексия Начева, изу-

чавшая философию в Цюрихе и Мюнхене, сотрудница газеты «Равенство» Елена Гичева выполняла рядовую, лишенную всякого внешнего блеска партийную работу. Выполняла деловито, целеустремленно, разумно, самоотверженно.

В протоколах допросов, которым она была подвергнута в Дирекции полиции, нет ни одного необдуманно сказанного слова. Эти два дня словно бы стали для нее продолжением ее бесшумной партийной деятельности, строго секретной, подчиненной всем правилам конспирации. Два дня истязаний, ничего не давших полиции, и Елена Гичева умерла несломленной.

Напрасно полиция так торжествовала при ее аресте.

Правда о твердости, которую Гичева проявила на допросах, проникла даже в прессу. Падкая на сенсации газета «Утро», пообещавшая читателям невероятные конспиративные истории, которые должна была, по ее мнению, сообщить эта «видная большевичка», на следующий день после смерти Гичевой уныло сообщала:

«Гичева была подвергнута допросу несколько раз, но на все вопросы отвечала упорным молчанием. Единственно, чего удалось от нее добиться, это заявления:

— Да, я — коммунистка! Какие бы вопросы вы мне ни задавали, ответа все равно не получите!»

Ее смерть — неопровержимое доказательство того, что эти слова были действительно сказаны!

И вот, пока генерал-фанатик пополнял свои списки, отдельные, вырванные из рядов партии борцы вели неравный бой в четырех стенах допросных камер и сгорали одинокими жертвенными факелами. Генералу нужно было их признание, чтобы ни один из «самых смелых и способных» не вырвался из готового замкнуться кольца. Один за другим попадают в Дирекцию полиции Димитр Хаджимитрев и Коста Шулев... Как и в случае с Еленой Гичевой, полиция выдвигает версию о «самоубийстве», но на процессе 1954 года было установлено, что оба они были сброшены в лестничный пролет с площадки четвертого этажа Дирекции полиции.

После долгой отчаянной погони по софийским улицам полиции удалось схватить двадцатичетырехлетнего студента-юриста Тодора Димитрова. И какая удача! При обыске у него обнаружили иностранную валюту! Вот оно, доказательство «щедрых подачек международного большевизма»! Полицейские просто сияют от радости. Но у арестованного есть документы, недвусмысленно подтверждающие, что эти деньги собраны международным пролетариатом в помощь жертвам фашистского террора. Тодор Димитров — один из сотрудников ЦК, участвовавших в распределении и раздаче этих сумм, скромных по размеру, но бесценных как выражение пролетарской солидарности. Протоколы допроса Тодора Димитрова раскрывают такое нравственное величие, которое можно сравнить разве что с величием Василя Левского¹. Но безукоризненная честность арестованного студента не производит на полицейских никакого впечатления. Деньги, предназначенные вдовам и сиротам павших во время восстания, — не помощь, слишком мало их было для такого количества осиротевших людей, а скорее трогательный знак внимания, — эти самые «большевистские» деньги исчезают в бездонных карманах палачей и их начальников.

Его истязали долго и особенно жестоко. Ведь это же родной брат самого страшного врага власти — Георгия Димитрова. Но палачи и на этот раз обманулись. Пройдут дни, пройдет неделя, другая, и от сильного, красивого юноши останется еле стоящая на ногах кровавая тень, одна лишь упрямая искра воли, затаившаяся в последнем биении пульса, в самых глубинах сознания. И однажды утром его, мертвого, вынесут в коридор. Все так же безмолвного. Нет! На подошве башмака товарищи увидят его последние слова, нацарапанные куском штукатурки: «Я никого не выдал». В них — спасение для тех, кто задержан здесь без достаточных доказательств. И пример тем, кому еще предстоит провести немало часов в руках остервеневших палачей.

¹ Васил Левский (1837—1876) — болгарский революционный демократ, выдающийся деятель национально-освободительного движения, героически погибший от рук турецких порабощателей. — *Прим. перев.*

На процессе 1954 года бывший старший надзиратель Дирекции полиции, вызванный в качестве свидетеля, покажет:

«Брата Георгия Димитрова жестоко и бесчеловечно избивали в кабинете инспектора Пана Бичева. Он был весь синий. Последнюю ночь просидел отдельно. Было приказано связать его по рукам и ногам, чтобы он не покончил с собой. Но ночью Тодор Димитров сумел развязать себе руки и повесился на радиаторе. Когда мы вынесли его в коридор, я заметил, что другие арестованные не сводят глаз с его ботинок. Там было написано что-то в смысле, что он никого не выдал...»

Правда ли, что Тодор Димитров сам положил конец собственной жизни? Или это тоже была обычная полицейская инсценировка?

6 марта состоялось 57-е заседание Народного собрания, которое должно было изменить и дополнить Закон о защите государства. Эти дополнения понадобились правительству, чтобы придать своим преступлениям хотя бы видимость законности. Специальная статья законопроекта — седьмая — предусматривает суровое наказание каждому, кто «устно, письменно, в печати или в художественных произведениях побуждает народ к вражде, ненависти или преступлениям против отдельных классов, слоев населения или установленной власти и тем самым может создать опасность для законного порядка в стране...».

Плану физического уничтожения самой просвещенной части народа нужно было найти какое-то юридическое обоснование.

В тот же день, незадолго до начала голосования, во время перерыва единственный оставшийся в живых коммунист — депутат Народного собрания Хараламби Стоянов — вышел на улицу подышать свежим воздухом. На бульваре Царя Освободителя он смешался с потоком людей, прогуливавшихся после работы. У киоска, что напротив Военного клуба, остановился купить газету... И вдруг рядом с ним вырос неизвестный. Ствол парабеллума нацелился в висок, раздался выстрел, и Стоянов рухнул на каменные плиты тротуара. Смолк голос, который так часто тревожил нечистую совесть убийц. Не стало

человека, который и после гибели Вылчо Иванова и Тодора Страшимирова так же отважно поднимался на трибуну, требуя наказания преступников.

А заседание в Народном собрании шло своим чередом. Министр внутренних дел генерал Русев говорил о «порядке и умиротворении» — единственной цели, которую, по его словам, преследуют предлагаемые к закону поправки.

— От нас требуют, чтобы мы проголосовали за этот законопроект, — на трибуну поднимается Христо Баев, член Земледельческого союза, сторонник Единого фронта. Голос его звучит глухо — нелегко брать на свои плечи тяжесть неравной борьбы. Но упрямый крестьянский нрав берет свое: — Сейчас, когда мы слушаем законопроект во втором чтении, перед Военным клубом бьется в конвульсиях еще не остывшее тело Хараламби Стоянова... Вот каким способом достигается умиротворение — цель, провозглашенная проектом!.. И хотя Закон о защите государства действует и сейчас, он никак не гарантирует безопасность болгарских общественных и государственных деятелей...

Негромкие, с трудом роняемые слова трагическим укором звучат в темнеющем зале. Сокровенные слова, последняя дань уважения павшим, слова разлуки.

— Хараламби был нашим товарищем, всего несколько минут назад он сидел здесь, на своей скамье, и вот приходит весть, что он мертв...

Но слова Баева — всего лишь единичные, последние искры непримирившейся совести, вспыхнувшие в зале Народного собрания.

Новый Закон о защите государства вступает в силу.

С этого дня все, что попадает в досье тех, кто находится под наблюдением, с удвоенной тяжестью ложится на кровавые весы палачей.

Перестала выходить газета Хербста «АБВ». Газета запрещена за «оскорбление власти». Оскорбление? В глазах фашистских бонз каждое слово, написанное непокорным журналистом, не просто оскорбление, но и форменное издевательство над властями!

Я представляю себе статьи Хербста в руках премьер-министра Цанкова. Вижу, как утром, прежде

чем протянуть руку к дымящейся на столе чашке кофе, министр дрожащими пальцами разворачивает газету с невинным школьным названием — «АБВ».

Прежде всего он заглядывает в правый нижний угол первой страницы. Там в жирной рамке Хербст обычно помещает свои сентенции — рассуждения о власти и управлении, об истории и социальных отношениях. Цанков перелистывает страницу. На второй полосе в самых неожиданных местах курсивом выделены комментарии редактора к случившимся накануне событиям. Разумеется, министр убежден, что для Хербста любые события лишь повод, чтобы «поносить и высмеивать правительство», и в первую очередь того, кто его возглавляет.

Карандаш премьера подчеркивает дерзкие слова журналиста:

«Сейчас Болгарией управляют профессора и генералы — звания, пользующиеся у нас наибольшим уважением. Но разве этих ярлыков достаточно, чтобы обеспечить управлению высокое качество и честность?

Наоборот, почетные звания в наших верхах представляют собой удобнеее прикрытие для спекулянтов, шарлатанов и прочих подонков общества, свободно разворачивающих самую предосудительную и вульгарную преступную деятельность и уверенных в том, что власть имущие, боясь навлечь подозрение на все управление, помогут сохранить их дела в тайке, а преступления — нераскрытыми».

Эта реплика журналиста носит многозначительное заглавие «Честное и бесчестное управление». Глава правительства и в этом усматривает подвох. Первое слово — «честное» — поставлено здесь лишь для того, чтобы сбить с толку не слишком догадливых «архивариусов» из Дирекции полиции.

Но пришел день, когда слова Хербста оглушительной пощечиной обрушились на лицо премьер-министра. Одной краткой реплики в «АБВ» оказалось достаточно, чтобы все старания Цанкова казаться мыслящим и дальновидным государственным деятелем превратились в жалкие и смешные потуги.

В одной из своих «великих» речей в Народном собрании Цанков потребовал от депутатов, общественности и всего народа уважения к «своему» пра-

вительству, потребовал, чтобы они не позволяли «безответственным элементам» присваивать функции властей. В ответ газета Хербста поместила в правом нижнем углу своей первой страницы всего три фразы:

«Одно дело — спасение страны и совсем другое — спасение правительства.

Для спасения страны можно пожертвовать даже правительством.

Но для спасения какого бы то ни было правительства нельзя и не должно жертвовать страной».

И больше ничего.

Но эти слова, сказанные спокойно, с классическим достоинством, окончательно вывели из равновесия первого властителя Болгарии.

И он поднял свой тяжелый кулак.

На газету Хербста обрушился удар. «АБВ» закрыта. Но бесстрашный публицист и не думает отступить. Он начинает выпускать газету «Днес».

В сумрачной тени приближавшейся апрельской драмы все реже звучат одинокие голоса непокорных воинов пера. Но никто из них не сдается. Все меньше становится газет, в которых можно писать честно и открыто. Но эти газеты, вестники народной правды, борются и протестуют до последнего своего часа.

«Нет, господа правители, вам придется понять, что ни террор, ни новые цепи не принесут умиротворения нашей несчастной стране. Не новые цепи — зубами будем их грызть, но разорвем — дайте нам действительную свободу и порядок!»

Это строки из статьи Николая Грамовского, опубликованной в газете «Работническо единство».

А на страницах газеты «Работничка» поднимает свой звенящий тревогой, но по-прежнему сильный голос Анна Май (так Анна Маймункова подписывала свои статьи):

«Женщины трепещут за безопасность своих мужей. Тяжкая политическая атмосфера сгустилась над нашей страной. Она несет нам новые могилы, новых вдов и сирот. И тысячи страдающих женщин с полным правом спрашивают правительство: будет ли наконец покой на нашей измученной земле?»

Я думаю о невероятной силе духа, которой обладают лишь люди с безупречно чистой совестью,

глубоко убежденные в правоте своего дела. От них хотели одного — молчания. Ничего больше. Но, видно, для них это было страшнее самых жестоких истязаний. Даже наверное так, раз все они, когда их поставили перед неизбежным выбором, предпочли мучения позорному безгласию. И совсем не обязательно подчеркивать, что большинство журналистов партийной и единогофронтовской печати не обладали многогранным талантом и влиянием Хербста. Ведь в такие драматические эпохи каждый пусть неумелый, но борющийся за правду голос стоит неизмеримо дороже самого талантливого, но молчащего пера. В такие решающие для жизни народа времена нелепо сравнивать таланты и призвания. Страдать, бороться, идти на смерть за свой народ — вот что было тогда самым высоким призванием, самой точной мерой таланта.

И я вновь вспоминаю печальные, гордые, непоколебимые, все говорящие слова Анны Май:

«Возврата нет!»

А военный министр уже заполнил свою чудовищную картотеку — коллекцию имен тех, кого он собрался уничтожить одним своим генеральским словом. Осталось только определить тот самый срок, о котором упоминалось в секретном генеральском приказе. В голове у генерала роятся всевозможные планы, и, похоже, верх уже берет идея об инсценировке нападения на какую-нибудь казарму, которое можно будет приписать коммунистам. (Через восемь лет подобная идея возникнет в голове некоего немецкого фюрера, и в рейхстаге вспыхнет пожар — «дело рук коммунистов». Видно, выше этого не в силах подняться мысль ни одного фашистского главаря.) Болгарский кандидат в фюреры даже определил объект, на который должны «напасть коммунисты», — казармы Первого пехотного полка в Софии. Идея уже одобрена Цанковым, а царь, «раз уж нет никакого другого выхода», вряд ли станет возражать генералу.

Но именно тут произошли события, которые, хотя и не без некоторых неприятностей для правительства и самого генерала, предоставили ему желанную свободу действий. Влажным апрельским утром из Бо-

тевграда в Софию вышли два автомобиля. В одном — царь и офицеры свиты. Машины поднялись на Арабоконакский перевал, и вдруг из леса раздались выстрелы. Царский автомобиль покачнулся, застрял в кювете. Один из охраны остался лежать убитым на сиденье, остальные залегли за машиной и, отстреливаясь, попытались скрыться короткими перебежками. В кювете остался еще один убитый — царский энтомолог. Сам царь уже бежал по дороге назад по направлению к Ботевграду под защитой беспорядочно стрелявших офицеров. Метрах в двухстах от места покушения офицеры остановили междугородный автобус, высадили пассажиров и велели шоферу на предельной скорости везти царя обратно в Ботевград.

Спустя некоторое время ботевградский ротмистр Сарафов и его отряд на этом же самом автобусе примчались к месту покушения, чтобы выследить и поймать «террористов». Но, кроме двух трупов — телохранителя и энтомолога, продолжавшего прижимать к груди коробки с жуками и бабочками, — ничто уже не говорило о случившемся.

Во второй половине дня прессе было передано следующее официальное сообщение:

«Сегодня, 14 апреля, в 10 часов 30 минут утра банда, состоявшая из пяти-шести человек, сторонников единого коммунистско-дружбашского фронта, и вооруженная огнестрельным оружием, напала в Арабоконакской теснине на автомобиль, в котором следовал Его величество Царь, и убила двух его спутников. Разбойники, по которым был открыт огонь, скрылись».

Правительственные газеты соревновались в сообщении все новых и новых подробностей покушения. Само собой, не было недостатка в восторженных статьях, расписывавших «хладнокровие и смелость Его величества Царя» и рассуждавших о благодати провидения, которое в эти страшные минуты «защищило Его величество, к великому счастью всего болгарского народа».

Впрочем, покушение осудили все. Коммунистическая партия немедленно выразила свое отрицательное отношение к подобного рода действиям, несовместимым с принципами ее борьбы. Газета Хербста «Днес» тоже высказалась вполне категорично: поку-

шение — дело рук безответственных элементов, не понимающих, какой вред приносят их действия.

Но не успела еще стихнуть волна этой сенсации, как на следующий день «террористы» убили отставного генерала Георгиева, председателя Софийского отделения «Народного сговора». Убийство носило явно политический характер. Власти вновь попытались обвинить в нем Единый фронт коммунистов и земледельцев. Правительство, полиция, военные — все было поднято на ноги. Принимается решение о «чрезвычайных контрмерах». Похороны фашистского генерала должны продемонстрировать твердую решимость правительства «обуздать террористов — коммунистов и едиnofронтцев».

На следующий день цвет правительства и высшего офицерства собрался в соборе Святой Недели. В последний момент царь сообщил, что запоздает, пусть заупокойную службу начинают без него. А в это время зажженная спичка уже приближалась к фитилю, вспыхнул потрескивающий огонек...

Страшный взрыв сотряс стены собора. С оглушительным грохотом обрушился свод. В воздухе встал смерч из обломков черепицы, кирпича, балок. Высокий черный столб дыма повис над городом.

В это время царский автомобиль уже въезжал на улицу, ведущую к собору. Зрелище, которое Борис увидел сквозь толстое ветровое стекло, заставило его оцепенеть. Что-то пытаются сказать непослушные губы, но шофер и без слов понимает: «Назад! Подалее отсюда! На полной скорости!»

Царь Борис III, один из тех, на кого должна была обрушиться страшная взрывная волна, бежит, бежит по улицам этого проклятого, обезумевшего города — чужого ему города, чужой земли...

Это было 16 апреля 1925 года.

ЗЕМЛЯ БЕЗ ВОЗДУХА

— Взрыв произошел около одиннадцати часов утра. Я тоже был в соборе и получил ранение.

Площадь сразу же была оцеплена войсками. Полиция отправилась в дом церковного служки, который выдал своих сообщников-коммунистов.

После полудня состоялось заседание Совета министров. Было принято решение арестовать всех более или менее видных коммунистов и объявить военное положение. Выполнение этого решения возложили на военное министерство, министерство внутренних дел и министерство юстиции.

— Вам было известно отношение коммунистической партии к взрыву?

— Да, я знал, что коммунистическая партия как в целом, так и в лице ее Центрального Комитета не связана со взрывом, что это дело отдельных экзальтированных личностей. Как ни враждебно я был настроен к коммунистической партии, я и тогда считал невероятным, чтобы она предприняла или одобрила такой акт, бесполезный и для нее, и для всей страны.

— Почему же вы еще тогда не высказали этого своего убеждения? Зачем приказали уничтожить такое громадное количество невинных людей?

(Из показаний подсудимого Вылкова)

— Объявить военное положение! Немедленно!

Это уже в третий раз в голосе генерала Вылкова звучит такая стальная решимость. Он понимает, что в этот трагический день 16 апреля, так же как в день переворота 9 июня, как в дни Сентябрьского восстания, именно ему предстоит сыграть роль «спасителя

отечества». Согнутая в локте рука висит на перевязи — весьма подходящее украшение для боевого генерала в столь исключительный момент его жизни. Во время взрыва Вылков был всего лишь слегка задет куском штукатурки, но бинты придают ему вид человека, преданного долгу и твердо решившего принять на себя суровый жребий предстоящей битвы.

Рядом с ним Цанков и Русев. Премьер, как всегда в подобных случаях, одобряет любые меры, которые могут помочь ему сохранить власть. Министр внутренних дел настроен по-деловому:

— Нужно немедленно найти человека, способного справиться с этой задачей!

Генерал безошибочно понимает, о какой «задаче» идет речь. Недолго думая — у него всегда есть наготове любые решения, — предлагает:

— Капитан Кочо Стоянов.

Русев полностью согласен:

— Это именно тот человек, который раз и навсегда может разделаться с коммунистами и земледельцами.

Цанков тоже не возражает.

Разговор происходит в вестибюле перед залом военного министерства, где созвано экстренное заседание Совета министров. Министры уже собрались, только эти трое не спешат покинуть вестибюль.

Вылков приказывает адъютанту:

— Найти капитана Кочо Стоянова и немедленно ко мне!

— Слушаюсь!

Адъютант бежит к лестнице.

И внезапно сталкивается с человеком в штатском, спрятавшимся за колонной. Место, откуда идеально слышно все, о чем беседуют между собой три министра. Офицер хватается за кобуру, но незнакомец только улыбается — без малейшего испуга, как сообщник.

— Не узнаешь?

Адъютант вглядывается в лицо продолжающего улыбаться человека.

— Ах, да! Ты этот, с автомобилем...

Он опускает руку и сбегает по лестнице, торопясь выполнить приказание своего генерала.

Человек за колонной — один из тех «любопытных», о ком еще пойдет речь впереди. Торговец старыми автомобилями и запчастями, владелец автомобильной стоянки у гостиницы «Юнион-палас», Александр Петрович безошибочным чутьем угадал, что «снова будет дело», и, сгорая от нетерпения, бросился в военное министерство. Здесь он свой человек, никто из охраны его не останавливает, и Петрович беспрепятственно добирается до вестибюля большого зала, где чуть не сталкивается с тремя главными министрами страны. И не успел еще Цанков оповестить своих министров о введении военного положения, как этот человек, счастливый, что он, хотя и в жалкой роли подслушивающего, участвует в таком важном государственном разговоре, уже знал все. Довольный, спускается он по лестнице, приветственно машет рукой капитану Кючо Стоянову, который, запыхавшись, торопится явиться на генеральский вызов. Он еще дожидется капитана и, сияя, все с той же заговорщической и услужливой усмешкой остановит его у выхода:

— Капитан...

— Ах, это ты? Ты мне понадобишься! Сегодня же вечером!

— Где?

— В разных местах. Я тебя вызову по телефону. Ступай домой и жди!

— Ясно, капитан...

И капитан скроется в темнеющей улице, торопясь навстречу восходящей звезде своей кровавой славы, а услужливый хозяин стоянки еще немного повертится у входа в министерство и, спрятав тайну в своей неизменной усмешке, лениво двинется к машине, бесцеремоннейшим образом оставленной у самых колонн Национального театра.

Над Софией опускается первая из страшных апрельских ночей.

Прячутся только виноватые — мы же ни в чем не виновны. Зачем нам прятаться? Ведь это будет означать, что у нас нечиста совесть, что мы каким-то образом причастны к взрыву. Нет, мы спокойно вернемся к себе домой... Возможно, конечно, что нас арестуют, поддержат день-другой, может, и больше, а

потом выпустят. Лучше всего не показывать страха, сохранять спокойствие... Да, это важнее всего — продемонстрировать свое полное спокойствие...

Поэтому, когда офицерский или полицейский сапог толчком распахивает дверь и представитель власти, не обращая внимания на охваченных ужасом женщин и детей, приказывает хриплым голосом: «Не двигаться! Ты арестован!», муж, отец, брат действительно спокойно поднимаются навстречу направленному на них оружию. Вначале задержанным связывали руки и гнали к оставленным где-нибудь в конце улицы фургонам. Но потом процедуру упростили — зачем, в самом деле, связывать руки людям, которые не оказывают никакого сопротивления?

В дом учителей Райны и Ламби Кандовых полиция явилась поздно ночью. Арестовали обоих, но квартиру покидать не спешили. Внимательно осмотрели комнаты, озадаченно остановились перед большим книжным шкафом, недоуменно полистали несколько книг — вот до чего оно доводит, чтение! А супруги тем временем стояли в коридоре, подняв руки, под охраной полицейского.

Их привезли в Дирекцию полиции. В канцелярии все происходит по правилам: описывают вещи, выдают картонные номерки, по которым вещи должны быть возвращены при освобождении. Райна Кандова вопросительно смотрит на мужа: «Может быть, нас и вправду скоро выпустят?» Но лицо Ламби остается мрачным.

Потом — бесконечные ступени лестницы, до пятого этажа. Куда они ведут, к спасению или...

У входа в коридор их разлучают. Райна должна сидеть в первой камере. Еще несколько мгновений под взглядами двух полицейских.

— Возьми мой номерок, сама знаешь — живым мне отсюда не выйти!

Ламби Кандев протягивает жене картонку. Руки их встречаются... Одна-две секунды, но воспоминание об этой прощальной ласке будет согревать женщину все долгие ожидающие ее вдовьи годы...

В вечерних сумерках к софийскому перрону подошел поезд. Из него вышел Жеко Димитров. Узнав

о взрыве, он поспешил вернуться в Софию, домой к семье. Вокзал был оцеплен полицейскими, внимательно осматривавшими каждого пассажира. Его никто не остановил. Выйдя на площадь, он понял: весь город блокирован. Спутник Жеко Димитрова посоветовал ему не возвращаться домой, а скрыться где-нибудь на два-три дня, пока не стихнет первая ярость властей. Жеко Димитров непреклонен:

— Нельзя нам прятаться! Нет у нас причин прятаться!

Поздно ночью, когда все в доме уже спали, в дверь заколотили агенты Общественной безопасности. Жеко Димитров целует обоих спящих детей, обнимает жену и открывает дверь:

— Да, я Жеко Димитров.

Агенты гонят его к стоящей неподалеку машине. Везут в Дирекцию полиции. В канцелярии записывают в книгу «входящих». Рядом со своим Жеко Димитров замечает только что вписанное имя — Ламби Кандев. Потом его ведут по полутемному коридору пятого этажа, вводят в последнюю камеру справа. А внутри... около тридцати человек, сидящих на полу, полулежащих. Тридцать человек в одной только камере!

Жеко Димитров пристраивается у самой двери, рядом с Ламби Кандевым. В затаенной тишине слышно журчанье воды — это шумит под окнами переполненная весенними дождями речка. Руки друзей безмолвно встречаются. И вместо приветствия Жеко Димитров тоскливо шепчет:

— Будет резня...

Наивные иллюзии остались там, перед входом в этот дом смерти.

К их сплетенным рукам вскоре прибавится еще одна, рука Драгая Коджейкова, которому посчастливится оказаться в числе немногих оставшихся в живых обитателей этой камеры — последней по коридору, с выходящими на реку окнами.

«Мой муж Григор Кузманов работал журналистом в газете Земледельческого союза, которая часто меняла свое название. Он был сторонником Единого фронта, и поэтому полиция четыре раза выселяла его из Софии в Стару Загору. 16 апреля его там арестовали вместе с Сергеем Румянцевым. Их заковали в

цепи и поездом привезли в Софию. Я привезла туда еду и одежду для мужа и для Сергея. У входа в здание Общественной безопасности меня окружили черные, бородатые страшные люди: «Чего надо, тетка? Ты деньги давай, он денег хочет!» Будто бы муж денег просил».

Двое полицейских ведут по перрону кюстендильского вокзала учителя литературы Радивоя Каранова. У ступенек вагона он просит у конвойных разрешения проститься с женой. Снимает и отдает ей часы. Хочет снять и кольцо, но жена останавливает его руку:

— Кольцо пусть будет у тебя.

Его пальцы ласкают густые русые волосы любимой...

— Дочка... Поцелуй ее от меня... И не плачь, я скоро вернусь!

Из окна вагона он снова всматривается в заплаканное лицо жены, в ее руки, судорожно сжимающие часы и бессильные послать прощальный привет... А когда светлый силуэт тает вдаль, он опускается на скамью между двумя полицейскими, доводящими каждое его движение. Взгляд его останавливается на поблескивающем в сумраке золотом кольце, на котором выгравировано ее имя «Йорданка» и дата — 25.I 1920. День их свадьбы.

И тут он вспоминает о фарфоровой куколке, лежащей в кармане его пиджака, игрушке, купленной ко дню рождения его маленькой Зоры.

Девочка напрасно будет ждать обещанного подарка.

Детская мечта вместе с ним уносится в неизвестное завтра...

Пятидесятилетний, изысканно одетый человек с одухотворенным лицом и снисходительно-грустным ироническим взглядом переступает порог Дирекции полиции. В первый момент начальник канцелярии теряется и вскакивает со стула, чтобы встретить важного гостя. Но наручники и два стоящих рядом полицейских успокаивают начальника — всего лишь обыкновенный арестант!

Обыкновенный?

Арестованный отдельно произносит свое необычное имя:

— Иосиф Хербст.

На площадке перед лестницей, ведущей на пятый этаж, этот беспартийный публицист ступит на выложенную в полу пятиконечную звезду. И поднимется вверх...

Цепи Темелко Ненкова гремят по каменным ступеням. Полиция Перника убеждена: нет у государства врага страшней, чем Ненков,— и потому заковала его в самые тяжелые цепи. Вождь шахтерского профсоюза, бывший депутат Народного собрания словно нарочно с грохотом размахивает проклятым железом. Арестованные в битком набитых камерах прислушиваются: что это там еще за Марко Королевич?

Но оглушительный звон мешает следователям. Один из них разъяренно выскакивает из кабинета и кричит:

— Хватит! Перестань греметь!

Закованный Ненков ненадолго — чтобы все слышали ответ — останавливается:

— Снимите цепи — перестану!

И шагает дальше, еще громче гремя железом.

К Христо Ясенову постучались в четыре часа утра. Когда поэт, открыв дверь, появился перед нацеленными на него дулами и штыками, полицейские неожиданно для себя увидели невысокого, худощавого человека, ничуть не похожего на все их представления о бунтовщиках и конспираторах. На письменном столе лежит стопка белых картонных листов. С них и начинается обыск. Оказывается, учитель рисования Ясенов взял домой работы своих учеников, чтобы отобрать лучшие для школьной выставки. Полицейские раскрывают книжный шкаф — в нем русские книги. Полистав, разочарованно бросают на пол — стихи каких-то Брюсова, Бальмонта...

А поэт смотрит на них грустным, все понимающим взглядом.

Когда наручники защелкиваются на его кистях, у Ясенова вырывается подавленный стон. Нет, не при мысли о том, что его ожидает. Просто резкий рывок острой болью отдался в простреленной восемь лет назад руке, когда он, офицер 42-го полка, героически сражался «за царя и отечество»...

«В двадцать пятом его забрал староста, вернее не староста, а один из сельских наших сторожей. Ста-

роста, мол, тебя кличет. Потом, как взяли моего мужа прямо с работы в одной рубашке, решила я ему отнести пиджак и шапку. Он ведь у меня, Спас-то, инвалид, одноногий был, бедняга. Спрашиваю в общине, где арестованные, а они: «Тут он, твой Спас». Пошла я к подвалу, к оконцу. Кричу: «Спас, ты здесь?» — «Здесь я,— отвечает Спас,— здесь, в подвале». Присела я у оконца и давай реветь. Спрашиваю: «Что они с тобой делали, Спас? Много мучили?» И он рассказал мне, что ночью с ним вытворяли. Отвезли в другое место, тоже в подвал, но такой, что ни сесть, ни лечь нельзя было. Так всю ночь на одной ноге и простоял. К вечеру, часа в четыре, их увезли. Был с ними один военный. Принесла я Спасу палку, а военный этот даже не подпустил меня к мужу, сам палку взял и отдал Спасу. Следила я за ними до самой крепости, где батальон стоял. Дотуда и следы их знаю. А куда дальше они ведут, мне неизвестно...»

Спас Вучков ковыляет по пыльной дороге под конвоем сельского стражника и кичливого офицера. Еще немного, и дорога пойдет под уклон, к городу, скроется за холмами село. Он оборачивается, взмахивает палкой. И видит, как вдали на дороге жена его сдергивает с головы платок и размахивает им над головой. Другой рукой она придерживает малыша — ему всего полтора года. Старший, трехлетний, жметя к материнской юбке. А в сторонке на каменных ступеньках здания общины вместе с другими чиновниками сидит староста и смотрит вслед удаляющейся группе. Увидев поднятую палку, все беспокойно заерзали, а староста, вскочив, тоже вскинул руку. Пальцы ее сжаты в кулак. Мстительно и злобно.

У входа в крепость офицерик откидывает брезентовый верх грузовика. Спас Вучков пытается взобраться сам, но деревянный протез беспомощно соскальзывает с обитого железом борта. Несколько грубых толчков — и вот он уже распростерт на липких, измазанных дегтем досках кузова. Шипя, затягиваются веревки брезента.

Так началась кровавая одиссея члена Земледельческого союза из Слатины, «врага государства», союзника коммунистов Спаса Вучкова.

Мы ненавидим жестокую власть капитала. И боремся против вашего правительства, потому что оно отнимает у народа не только плоды его труда, но и нечто более существенное — волю, свободу, мысль. Наша борьба справедлива, исторически оправдана, вызвана вашим свирепым террором.

Но мы не хотим смерти отдельных лиц. Кому она нужна? Мы жаждем гибели общественного порядка, обрекающего на нищету и духовный мрак целый народ. Будущий рабоче-крестьянский трибунал определит степень виновности каждого из вас, теперешних столпов антинародной власти. И вынесенный им приговор будет высшей справедливостью, волей истории.

Те, кого вы называете террористами, предстанут пред вашим судом. А мы? Почему вы не даете нам возможности защищаться? Закон против нас, но все-таки закон!

Вы вырвали нас из жизни, вывернули наизнанку наши дни и ночи. Но с историей нельзя так играть. Днем мы спим, обессилев от побоев, прижавшись друг к другу в переполненных камерах. А ночью? Ночью мы трудимся. Страшный, непосильный труд. Трудимся для завтрашнего дня.

Подкованные сапоги останавливаются за дверью. С грохотом распаивается дверь, и багровые щупальца карманных фонарей ползут по нашей одежде, по сплетенным телам. Ищут наши лица.

Да, мы идем. Пора.

Офицеры входят в камеры с черными масками на лицах. Они не разговаривают — палками расталкивают людей. Обнаружив намеченную жертву, бьют палкой по голове — знак стоящим сзади надзирателям. Те выходят вперед с ружьями наперевес:

— Вставай! Быстро!

Арестованный встает. Подталкиваемый упирающимся ему в спину штыком, он проходит по коридору, спускается по лестнице и... выходит на улицу. Жадно вдыхает свежий полуночный воздух, недоумевая оглядывается. Куда? Он еще не разглядел фургона, скрытого в тени распутившихся деревьев. Приклады подталкивают его к дверце, двое военных,

стоящих у задних ступенек, швыряют его внутрь. Он падает вперед и натывается на плотную, безмолвную человеческую стену.

На него падают те, кто идет следом, и он воспринимает эти толчки как последнее соприкосновение с жизнью, со своими братьями по борьбе...

Когда фургон будет набит до отказа, мотор загудит и помчит их по пустынным улицам спящего города.

— Почему вы это делали ночью?

— Чтобы все осталось в тайне.

— От кого вы прятались?

— От всех.

— Вы не смели делать это на глазах у народа?

— Не смели. На глазах у народа мы сделали только одно — то, что произошло в сентябре, в начале.

— Все остальное вы вершили во мраке ночи?

— В ночной тьме, в безумии...

(Из допроса подсудимого Тома Прендова)

Карательный отряд капитана Кочо Стоянова начал действовать в тот же вечер — 16 апреля. Чтобы избежать недоразумений с полицией, капитану была срочно пожалована должность полицейского коменданта Софии. Впрочем, это было сделано уже тогда, когда министры Вылков и Русев только подыскивали человека, который мог бы «справиться с задачей». Помощниками капитана Кочо Стоянова стали офицеры Третьей секции военного министерства, несколько профессиональных палачей, группа окончательно деградировавших личностей, которым поручалась «черная», «вспомогательная» работа, а также некоторые «добровольцы» — любители острых ощущений, вроде упомянутого выше торговца-шофера Александра Петровича.

Впоследствии на процессе 1954 года подсудимые подтвердят роль Кочо Стоянова как организатора всей деятельности карательного отряда. По его приказанию было создано также несколько подотрядов — в Военном училище, в Первом пехотном, артиллерийском, гвардейском полках... Во главе каждого такого подотряда стоял офицер из Третьей секции; кро-

ме того, в него входил «мастер-вешатель», шофер и «чернорабочие», носившие странное прозвище — «облака».

На вопрос, по чьему прямому приказу действовал капитан Кочо Стоянов, подсудимые ответят: «По приказу Центрального правления Военного союза в лице Вылкова, Русева, Лазарова и Дамяна Велчева».

Один лишь подсудимый Вылков скажет, что обо всем, происходившем в те дни в казармах, он узнал гораздо позже, и к тому же «из разговоров».

Мчатся по безлюдным ночным улицам битком набитые крытые брезентом фургоны. Сидящие в них люди напрасно гадают, куда их везут, — неожиданные повороты, тряска по ненаезженным дорогам...

Их высаживают на заросшем травой и сорняками дворе. Рядом какие-то высокие здания, похожие на казармы. Машина, очевидно, въехала в задние ворота — вокруг одни лишь приземистые бараки и кучи мусора. Без команды, ударами ружейных прикладов гонят их вслед за покачивающимся полуприкрытым фонарем. Несколько каменных ступенек вниз, и их вводят в сырое, пахнущее гнилью помещение. Вероятно, склад. Пол из глины, смешанной с песком.

Они осматриваются в желтом свете повешенного на дверь фонаря — почти тридцать человек с недоуменными, вопросительными взглядами. Что все это означает?

Двое военных выводят первого, оказавшегося ближе всего к дверям. Постепенно затихают шаги, слышно, как где-то хлопает дверь, — наверно, в соседнем помещении. И больше — ни звука. Через некоторое время приходят за следующим...

— Расскажите суду, как вы осуществляли эти убийства.

— Двое военных приводят одного из арестованных. Сажает на стул. Напротив садится еще кто-нибудь из военных, чтобы вести «допрос». Он спрашивает арестованного об имени или еще о чем-нибудь неважном, например: «Откуда у вас это кольцо?», — и в это время делает знак рукой, а двое других, которые уже стоят наготове с петлей из канатов, какими крепят палатки, набрасывают ему эту петлю на шею и тянут в разные стороны, пока у того не остановится сердце. Те, кто привел арестованного, стоят

рядом, готовые сразу же наброситься на него, если тот начнет сопротивляться. А те, кому приказано набрасывать петлю, всегда стоят сзади, чтобы их не заметили.

Когда кто-нибудь из антифашистов оказывался физически очень сильным и пытался подняться, за веревку хваталось еще несколько человек. Тела задушенных, пока они еще теплые и не зачоченели, сразу же засовывали в мешки, которые завязывали той же веревкой, какую использовали для удушения. Для большей верности шеи убитых затягивали еще их собственными ремнями. Перед тем как засунуть трупы в мешки, Черный капитан (Николов) и Любен Моллов забирали у них деньги, драгоценности.

(Из показаний подсудимого Илии Ковачева)

— Арестованных поставили во дворе артиллерийского полка у стены. Затем по одному стали вводить в помещение — вроде комнаты... Там было темно, горела только одна керосиновая лампа. Там и начались экзекуции. Все мы, ~~здесь присутствующие~~, принимали в них непосредственное участие.

— Включая вас?

— Включая меня. Не помню... было много вечеров... не помню, с кем в какой вечер я тянул веревку...

— Опишите картину поподробней.

— Вы же говорили, чтобы кратко...

— Но не об этом.

— Подробностей не помню, но попытаюсь описать. Введенного сажали на стул и заводили с ним какой-нибудь незначительный разговор. В этот момент по крайней мере два человека набрасывали ему петлю на шею и тянули в разные стороны.

— Сколько времени это продолжалось?

— Около пяти минут на человека. Затем убитых выносили в соседнюю комнату. Я заметил, что те, кто их выносил, там задерживались. Думаю, что они обыскивали убитых...

— Где еще, кроме артиллерийского полка, совершались убийства?

— В Военном училище, в Первом пехотном полку, в гвардейском полку... Тех, кого привозили в пе-

хотный полк, убивали из пистолета. Стреляли в затылок, поодиночке.

(Из показаний подсудимого Ивана Кефсизова)

— Через несколько дней после взрыва нас, офицеров гвардейского полка — Грозданова, Кирилла Стефанова, Асена Лекарского, Ивана Бояджиева и меня, — собрали в Военном клубе. Пришел Илия Ковачев и отвез нас в фургоне в Четвертый артиллерийский полк. Мы вышли, и я с Илией Ковачевым взяли человека, которого нужно было удушить. Накинули ему петлю и стали тянуть.

На следующий вечер мы отправились в Военное училище...

(Из показаний подсудимого Пенчо Сарафова)

— В расположение гвардейского полка фуруды въезжали через задние ворота. Привезенных мы отводили в конюшни второго и третьего эскадронов. Оттуда по одному приводили в помещение, где хранилась амуниция, и там убивали их, удушая веревкой, и потом добивали тупым орудием. Стены помещения были забрызганы кровью.

— Как вы пришли именно к такому способу убийства?

— Для этого не требовалось никакого умения.

— Были ли вы лично знакомы хотя бы с одним из убитых?

— Ни одного из них я не знал.

— Почему же вы их убивали? В первый раз видите человека и набрасываете ему на шею петлю. Почему? (Подсудимый молчит.)

(Из показаний подсудимого Гроздана Грозданова)

— В плохо освещенных комнатах артиллерийского полка я заметил и другие группы, занятые работой.

— Какой работой?

— Той же самой. Приводили задержанных и душили их веревочными петлями.

— Мы привыкли под словом «работа» понимать

совсем другое, например пахать, строить, создавать блага. Но когда людей убивают, это называется убийством.

— Виноват. Мы их убивали.

(Из показаний подсудимого Кирилла Стефанова)

— Бывали вечера, когда я не принимал участия в экзекуциях, так как в то время жена у меня болела воспалением желчного пузыря и мне приходилось бегать по аптекам за лекарствами...

(Из показаний подсудимого Цвятко Николова —
Черного капитана)

— ...В это время раздался крик из подвала, там было темно. Я взял фонарик и пошел туда. Когда я спустился, один из наших помощников крикнул: «Там живой!» Я подошел к трупам и направил фонарик на того, о ком говорили, что он еще жив. Чтобы установить это, я испробовал некоторые средства воздействия посильнее, но не получил никакого ответа...

— Какие средства воздействия?

— Я сказал: «Мы выиграли борьбу, и ты свободен!» Потом сказал еще что-то обнадеживающее, но он не откликнулся.

В это время тот, кто был со мной, спросил дядю Величко: «Прикончить его?», а потом повторил: «Давай я с ним разделаюсь». Дядя Величко сказал: «Да», и тут раздался выстрел.

(Из показаний подсудимого Стилияна Тошева)

— Собрали мы арестованных, загнали в фургон и отвезли в Четвертый артиллерийский полк. Во дворе между деревьями висели на жерди два фонаря. А прямо под ними была выкопана яма. Арестованных поставили лицом к стене по одну сторону ямы, а мы, офицеры, выстроились по другую ее сторону. Один из арестованных, последний, инженер из АЭГ, стал сопротивляться. Я знал, что по убеждениям он был земледелец, мы с ним были знакомы с февраля двадцать пятого года. Мне тогда понадобилась электроплитка, и он мне ее достал. Моллов приказал при-

нести из фургона веревку, чтобы связать его. Когда я вернулся, арестованный уже не сопротивлялся, его поставили на колени. Мы зарядили пистолеты и открыли огонь. Я стрелял по второму справа. Каждый выстрелил по три-четыре раза. Арестованные упали...

Эти расстрелы в Четвертом артиллерийском полку были осуществлены мною, Грозданом Гроздановым, Кириллом Стефановым, Асеном Лекарским, Иваном Бояджиевым, Иваном Кефсизовым, Илией Ковачевым, Саввой Куцаровым, Любеном Молловым и Атанасом Лазаровым.

Когда мы стреляли, то перед въездом в расположение полка стоял автомобиль с заведенным мотором, его гул заглушал выстрелы. Такой же автомобиль был и в Первом пехотном полку, где мы тоже производили расстрелы в складском помещении.

(Из показаний подсудимого Пенчо Сарафова)

Пусть убийцы сами рассказывают об убийствах. Убивать — их дело. К тому же, как видно из протоколов процесса, они способны рассказывать обо всем хладнокровно, обстоятельно, почти не смущаясь. Похоже, решившись однажды на главное — на преступление, не так уж трудно потом об этом рассказывать.

А мне трудно даже читать сказанное ими. Пред глазами встают картины казней: полуприкрытые, защищенные от ветра фонари, за ними — вереницы темных людских теней, мрачные каменные подвалы, склады с песчаными полами, конюшни, испуганно храпящие лошади, уединенные казарменные закоулки, окна, занавешенные одеялами. И человек, неловко сидящий на грубо сколоченном ящике или прямо на полу, ожидая, пока начнется «военное следствие». Вопросы неожиданные своей простотой: «Откуда у вас это кольцо?» Или: «Вы родом из...» У каждой группы карателей был «свой» вопрос, который задавался сидящим перед ними жертвам.

И не успевал обреченный набрать в грудь воздуха для ответа, не успевал произнести слово, понять знак, сделанный сидящим перед ним офицером, двинуть рукой в свою защиту...

Пять минут!

Бьется, рыдая, жизнь в задыхающемся теле, рвется из смертельной петли, рассыпается бесчисленными леденеющими искрами...

В человеческой речи нет слов, чтобы назвать то, что происходило тогда. Мысль не может воспринимать это, так же как слух не воспринимает слишком высоких или слишком низких звуков, которые носят-ся вокруг нас и, кто знает, могли бы поведать нам о чем-то необыкновенном, космически трагичном.

Потом убитых хоронили. Если верить схемам, нарисованным подсудимым Кефсизовым, всех, убитых в манеже Военного училища, сваливали в яму, вырытую в конце бывшего стрельбища в нижней части двора. Тела убитых в артиллерийском полку вывозили на военных грузовиках к Дырвенишской реке, метров на сто в сторону от Самоковского шоссе. Ориентиром служил старый постоялый двор на четвертом километре. От него машины сворачивали на проселок и останавливались у самой реки. В качестве могил использовались образованные течением ямы. Днем сюда присылали людей, которые расширяли и углубляли их.

Грузовики отвозили убитых и на восьмой километр того же шоссе. Их зарывали метрах в ста от дороги в большом овраге.

Еще несколько таких могил было в военном укреплении близ села Илиянцы — старый заброшенный колодец, специально выкопанная яма, несколько глубоких рвов за дощатым сараем-складом.

«Вечером мы сели в машину. Вел ее Стилиян Тошев. Я сидел рядом, а сзади — арестованный и поручики Радойков и Стоичков. По дороге оба они удушили арестованного прямо в машине. Где мы его закопали, не помню.

— Как выглядел человек, которого вы убили?

— Не могу вспомнить...»

В протоколах процесса немало мест подобных этому, взятому из показаний подсудимого Томы Прендова. И, наверное, немало могил убитых поодиночке в те апрельские ночи, навсегда останутся неизвестными.

Картины кровавых расправ, по-видимому, пробуждают у некоторых людей мрачные, проникшие через какие-то атавистические щели ощущения. Какое-то болезненное любопытство (нет, это слово слишком слабо!), что-то гнездящееся в подсознании непреодолимо толкает их увидеть, пережить процесс умерщвления, своими руками взяться за веревку, натянуть ее изо всех сил...

Болезнь это или «нормальная» жестокость фашиста? К карателям добровольно присоединился ротмистр в отставке Любен Моллов, который в первый же вечер без всякого смущения вошел в группу душителей. Я говорю «без смущения» и сам удивляюсь, как могло мне прийти в голову такое мягкое, деликатное слово. Ведь у Моллова было подлинное остервенение, непреодолимая потребность мучить, убивать, испытывать наслаждение от всего этого. Он бродит по комнатам, заваленным бездыханными телами, выискивает тех, в ком еще не до конца угасли искры жизни. И, найдя, спешит прикончить их яростным ударом, раздавить своим железным сапогом...

После Девятого сентября 1944 года тени всех задушенных, приконченных, растоптанных, растерзанных им людей заполняют его комнату, бросаются к нему, и он, вопя от ужаса, схватит пистолет и выстрелит себе в висок раз и два... пока палец его, похолодев, не замрет на курке.

Похожие чувства, вероятно, испытывал обитатель так называемой «холостяцкой» комнаты в Военном училище офицер Илия Ковачев, слышавший чудачком старый холостяк тридцати двух — тридцати трех лет, в свободное время приручавший насекомых. По его комнате разгуливали жуки с черными метками на спинках, ползали мухи со связанными ниткой крыльшками. По вечерам, веселый и подвыпивший он возвращался домой и еще с порога ласковыми словами приветствовал своих питомцев.

Пока однажды вечером...

«Однажды вечером я возвратился домой и увидел, что замок на моей двери сломан. В комнате валялись два забрызганных кровью одеяла и несколько веревок, какими солдаты привязывают свои палатки.

И так как я долгое время жил один, то был у меня сверчок, которого я дрессировал. Он всегда ждал

меня под столом, куда я бросал ему крошки. Погладишь, бывало, его пальцем, а он вроде бы застрекочет. Сверчок был растоптан...»

Тут подсудимый ненадолго умолкает, видно вспоминая дрессированного сверчка, так и не дождавшегося в тот вечер крошек от своего хозяина.

«У дверей комнаты я заметил солому, тоже в крови, и след, как будто что-то тащили. Следы вели на юго-восток, к тиру, крытому стрельбищу Военного училища.

И поскольку я страдаю одной неизлечимой болезнью... (Запинается.)

— Какой болезнью?

— Неизлечимой. Называется «чрезмерное любопытство» (Смеется.) К тому же в тот вечер я малость выпил, мы, кавалеристы, вообще любим выпить, нас так и звали «пьяная кавалерия»... Вот я и пошел поглядеть, что там происходит.

Дальше я помню не слишком ясно.

Я увидел, что Иван Кефсизов вводит каких-то людей в один из классов. Окна были занавешены одеялами. Там уже собралась куча народа — офицеры в штатском с надвинутыми на глаза шляпами, среди них был и Александр Петрович, приехавший на своей легковой «минерве».

Людей душили в углах, где было потемнее. Увидев, что все заняты делом, я лично тоже удушил одного вместе с Димитром Радевым. Тот, кого мы удушили, был в местной народной одежде, в шароварах и белой кожаной безрукавке...

На следующий вечер ко мне заявился Атю (Иван Кефсизов) и сказал: «Айда!» Я спросил: «Опять?» Он подмигнул...»

Имя Илии Ковачева — одно из наиболее часто повторявшихся на процессе 1954 года. В те кровавые апрельские ночи он был повсюду: приводил обреченных, затягивал петли, «допрашивал» сидящие перед ним жертвы, расстреливал людей, поставленных на колени у края рва...

Он — единственный из подсудимых, позволявший себе улыбаться судьям и публике и с подчеркнутым удовольствием позировавший перед кинокамерами и фотоаппаратами.

И все это началось в тот первый вечер — взломанная дверь, растоптанный сверчок, кровавые следы на соломе, разбудившие его «любопытство»!.. Напрасно спрашивать, возможно ли это...

И все же Илия Ковачев — человек с примитивным мышлением. А в числе «любопытствующих» убийц мы видим также людей образованных, с университетскими дипломами, которые открывали перед ними совсем другие поприща.

Арестованный в 1925 году деятель компартии Любен Дюгмеджиев рассказывает об одной своей встрече в коридорах Дирекции полиции. Он вдруг увидел знакомого по университету, человека, известного своими научными интересами, кандидата в профессора, в полицейском мундире! «Что ты здесь делаешь?» — спросил пораженный арестант. Полицейский смущенно (?) ответил: «Да я, знаешь ли, работаю здесь. Старшим следователем...»

Есть высшее образование и у Александра Петровича. Судя по его фамилии, я сначала думал, что он сербского или русского происхождения. Оказалось — чистокровный болгарин, сын врача, умершего, когда Александру было всего тринадцать лет. На отцовскую пенсию Петрович закончил Торговую академию в Невшателе, в Швейцарии. После войны он продал отцовский дом и на вырученные деньги начал торговое дело. «Мы покупали автомобили, которые военные части продавали после списания, чинили их и перепродавали,— сообщил суду Александр Петрович.— Но из-за жестокого кризиса дело это не пошло. Пришлось мне купить легковую машину, и стал я работать шофером на стоянке, возил пассажиров...»

Это было в 1921 году.

Через два года Александр Петрович повез на своей машине офицеров из Третьей секции Поркова и Кочо Стоянова в Чамкорию преследовать повстанцев-сентябрийцев. Это было первым «крещением» Петровича. Повстанцы попытались захватить царский дворец в Чамкории, но, преследуемые карателями, отступили в горы. К карательной группе присоединилось тридцать добровольцев во главе с «воеводой» дядей Величко, или, как его еще называли, «Большим облаком». Это был Величко Велянов, профессиональ-

ный убийца из террористической группы ВМРО¹, посланный самим «скопльским воеводой» Ванчо Михайловым. Вся эта колонна, предводительствуемая машиной капитанов, которую вел Петрович, состояла из грузовика с солдатами из Самокова и семи легковых машин из Софии, занятых «облаками» дяди Величко. Она двинулась на Самоков, а затем на Радуйил, Долну Баню, Костенец, село Белово... И всюду на ее пути оставались расстрелянные, исколотые штыками, изрубленные топорами тела повстанцев.

Похоже, что картины массовых убийств глубоко запали в сознание шофера Петровича. Ведь не успели еще развеяться черные клубы дыма над площадью Святой Недели, как он безошибочно понял, что опять «будет работа». Петрович не ждал, пока его позвут, — сам явился в военное министерство, чтобы не пропустить ничего из событий того дня. Вечером Кочо Стоянов назначил ему время и место встречи. Услужливый шофер сначала привез офицеров из казарм в Дирекцию полиции, затем уселся за руль военного грузовика, нагруженного телами убитых, и помчался по Самоковскому шоссе к зияющим ямам и оврагам Дырвенишской реки.

Первыми его словами перед судом народа были:

— Я раскрыл душу перед следственными органами, раскрою ее и перед вами, гражданин председатель...

И он рассказал — подробно, с запоздалым раскаянием — о своей пропащей, бесполезной жизни.

Но председатель суда прервал его элегическую исповедь:

— Вам платили за это?

— Нет.

— Значит, вы все это делали добровольно?

— Добровольно.

¹ ВМРО — Внутренняя македонская революционная организация, возникшая в 1893 году с целью освобождения Македонии от турецкого ига. После первой мировой войны правое крыло ВМРО, возглавленное Иваном (Ванчо) Михайловым, окончательно превратилось в контрреволюционную организацию — орудие великодержавной болгарской буржуазии. Отряды ВМРО помогали болгарским фашистам в осуществлении переворота 9 июня, подавлении Сентябрьского восстания и проведении террора после событий 1925 года.— *Прим. перев.*

— Расскажите о вашем участии в убийствах.

— Меня заставили. Я ждал перед складом артиллерийского полка и случайно заглянул внутрь. Кочо Стоянов увидел меня и сказал: «Здесь не театр, нечего глазеть. Берись за веревку!» Я и взялся.

— А на следующий вечер?

— И на следующий вечер.

— Сколько раз?

— Две ночи в артиллерийском полку, одна — в пехотном...

Я думаю о людях типа Александра Петровича, о тех неизбежно всплывающих в такие моменты «деятелях», всегда готовых предложить свои услуги и принять участие в «большой» игре. Нет, они были не только шоферами, эти чрезмерно услужливые люди, спешащие своими мягкими, изнеженными руками ухватиться за веревку рядом с грубыми, волосатыми кулаками палачей...

Я думаю о тех представителях интеллектуальной биржи, которые торопились предложить свои услуги сильным дня. Именно они обнаруживали пропуски в списках «врагов общественного порядка». У них была редкая возможность действовать беспрепятственно, с полной уверенностью в успехе и при этом анонимно, что, по-видимому, и поощряло их больше всего. Случайно оброненное имя, донос без обратного адреса, небрежно подсунутая вырезка из газеты, книга, сборник стихов — и над головой «врага государства, большевистского агента, коварной змеи, завтрашнего террориста-поджигателя» со свистом взлетала тугая смертельная петля. Нет сомнения, что последние страницы списков генерала Вылкова написаны под диктовку именно этих людей. Я вспоминаю характеристику, которую с такой силой дал им Ефрем Каранфилов в своей книге «Болгары»: «За смертью каждого Моцарта мы нередко обнаруживаем мрачную тень какого-нибудь Сальери. Это люди, не обладавшие никакими талантами, но ненавидевшие тех, у кого они были особенно яркими. В смутные, тяжелые времена зависть посредственности, словно пресмыкающееся, особенно часто выползала, чтобы ужалить истинного творца. Зависть, словно молния, уби-

гает все, что высоко, светло, талантливо, щедро, изобильно. Ведь уже само по себе щедрое изобилие — тяжкий приговор бесплодию... И мы вновь и вновь убеждаемся, что когда погибает настоящий талант, слишком часто выясняется, что какой-нибудь бездарный, бесплодный и полный амбиций «интеллектуал» оказывается рядом с убийцами».

Некоторые из них, вероятно, еще живы. Может быть, они даже со смутным беспокойством раскрывают страницы этой книги. Читайте! — говорю я им. — Читайте! Эти строки о вас! Не оглядывайтесь, не старайтесь вспомнить других подлецов, которые, может быть, раньше вас шепнули кому надо роковое словцо. И пусть вас не утешает, что процесс 1954 года не вынес вам никакого приговора. Если у вас есть совесть, она достаточно истерзана за эти долгие десятилетия, озаренные именами тех, кого вы предали. Вас постигла самая страшная для каждого клеветника и завистника кара — слава и бессмертие ваших жертв. А если совести у вас нет — тем хуже для вас. Значит, вы уже наказаны самой природой.

Часам к четырем утра, когда мрак становится непроглядным, но особенно обманчивым, потому что уже чувствуется приближение утра, капитан Кочо Стоянов совершал последний объезд ям и оврагов в окрестностях Дырвеницы и Илиянцев. Шофер Александр Петрович фарами освещал места захоронений. Это продолжалось одну-две минуты, время достаточное, чтобы капитан мог оценить, все ли сделано согласно полученным указаниям и не оставлено ли где следов, могущих вызвать подозрения. Убедившись в высоком качестве проделанной «работы», капитан тихо и продолжительно свистел — своего рода сигнал отбоя, — и из мрака выползали «облака» дяди Величко и других «воевод». Они складывали на грузовики кирпичи и лопаты, а затем вскакивали в кузов.

Наступало время отдыха, блаженного, беззаботного сна в бараках и душных казарменных пристройках. Под вечер, согласно приказу капитана, они поодиночке потянутся к пивной на улице Кирилла и Мефодия. Там закажут себе выпивку, не забывая, однако, что капитан не терпит пьяных «облаков».

В назначенный час в пивную прошмыгнут четверо мужчин в штатском с надвинутыми на глаза шляпами — Кочо Стоянов, Цвятко Николов (Черный капитан), Любен Моллов и неизменно сопровождающий их Александр Петрович. Прежде чем поставить задачу и распределить обязанности на предстоящую ночь, капитан Кочо Стоянов выдаст всем по сто левов. Моллов и Николов, вытащив из карманов награбленные часы и другие ценности, оделят особо отличившихся накануне. Петрович в стороне наблюдает всю эту картину. Черные алчные руки тянутся и к нему, но он лишь пожимает плечами — я всего лишь шофер! И напрасно пытается скрыть нервную ухмылку: все, что происходит в эти апрельские ночи, наполняет его существо пьянящим возбуждением...

Деньги и ценности делают свое дело. Мрачные «облака» светлеют. Ракия и добыча, так сладостно оттягивающая карманы, заставляют их глаза светиться еще большей преданностью и еще большей готовностью выполнить все распоряжения «хозяев».

Что это за люди, помогавшие власти в ее самых черных делах? Это члены фашиствующих банд «верховистского» крыла ВМРО, для которых кровопролитие уже стало ремеслом. Недаром генерал Вылков вел специальные переговоры о сотрудничестве с наиглавнейшим «облаком», предводителем ВМРО Ванчо Михайловым.

Итак, секретный приказ генерала Вылкова вступил в силу. За два дня Дирекция полиции была переполнена арестованными. Полицейские участки не справляются с бесконечным потоком задержанных. Карательные отряды капитана Кочо Стоянова «трудятся» на пределе, возможном для подобного рода «деятельности». Но и они не в состоянии «обработать» такое количество людей. Часть арестованных из Дирекции полиции переводится в Центральную тюрьму, другая — в гимназию имени Фотинова. Освободившиеся места тут же заполняются новыми партиями задержанных. Издаётся приказ: арестованных в провинции не везти в Софию, а пересылать в окружные центры, где для этой цели должны быть подобраны «подходящие помещения». «Подходящими» и на этот раз оказываются... школы. В них разыгрываются те же трагедии: допросы, избиения, убийства...

Но генералу, озаренному его кровавой, в третий раз взошедшей звездой, уже нужна широкая аудитория. Секретные приказы — это одно, это словно подводная часть айсберга, самая большая, но зато лишённая всякого блеска. Настал момент, когда генерал может предстать перед всеми в роли «спасителя нации». Объявленное правительством военное положение — обильная питательная среда для властолюбия генерала Вылкова. Вслушайтесь в его голос:

«Дорогие офицеры, унтер-офицеры и солдаты! Чаша терпения переполнилась, и болгарский народ, объявив военное положение, вверил свою судьбу армии и ее институтам. Он требует, чтобы мы обеспечили Родине спокойствие и порядок, любой ценой защитили жизнь каждого болгарина...»

Это приказ военного министра от 19 апреля 1925 года.

Три дня спустя генерал Вылков появляется в Народном собрании, встреченный, как отмечено в протоколах 84-го заседания, «криками «ура» и бурными аплодисментами». Обсуждается указ о введении в стране военного положения. Генерал все еще в бинтах. Излишне напоминать, какие чувства внушают они аудитории. Голос раненого «спасителя государства» тверд и решителен:

«В эти дни тяжких испытаний болгарская армия со всей присущей ей готовностью и самоотверженностью жаждет помочь народу, сохранить его и завоевать для него счастливое будущее... От имени армии и от себя лично заявляю, что мы будем счастливы, если ваше голосование даст нам возможность выполнить наш долг перед нашим дорогим народом!» (Бурные рукоплескания на скамьях «Народного сговора».)

В парламенте нет больше ни одного депутата-коммуниста. Павшие еще в начале марта от рук «неизвестных убийц», они 18 марта были лишены депутатских прав — бесполезный, запоздалый акт, лишённый раз доказывающий, насколько быстрее и надежнее действует пуля.

После принятия указа о введении военного положения, утвержденного, между прочим, с известным опозданием, когда карательные отряды уже уверенно разворачивали свою «работу», начатую вечером

16 апреля, генерал еще раз удостоился истеричных рукоплесканий со стороны депутатов-сговористов.

«Армия,— заявил он,— выполнит свой долг, как всегда выполняла его раньше, как выполнила его 9 июня. Она на чеку и думает лишь о благе всего болгарского народа...»

Генерал не мог не воспользоваться случаем и не напомнить о своих заслугах двухлетней давности. Такие вещи, по его мнению, господам депутатам забывать нельзя.

Как все преступники с нечистой совестью, военный министр непрерывно говорит о долге, честности и высоких идеалах. Не зря он так любит призывать к сохранению спокойствия и порядка, к защите «любой ценой жизни каждого болгарина».

Я снова и снова перелистываю воспоминания оставшихся в живых мучеников из числа жертв Дирекции полиции, Центральной тюрьмы, гимназии имени Фотинова и бесчисленных полицейских участков. Выискиваю самые мельчайшие следы, которые хоть что-нибудь могут рассказать о последних часах погибших героев. Стараюсь по вспыхивающим то тут, то там именам и фактам нарисовать себе последний путь этой жертвенной колонны, состоящей из таких светлых и высоких духом людей. Никогда на болгарской земле за такой короткий срок не погибало столько выдающихся представителей общественной и культурной жизни страны.

И я никак не могу прийти до конца.

Их последние шаги, наверное, навсегда останутся мучительной и непроницаемой тайной. Потому что с той минуты, как брезент фургона закрыл от них последний блестящий кусочек неба и забранное железом окно, за которым оставались их товарищи, у них больше не было свидетелей. Никто из них не остался в живых, чтобы рассказать грядущим поколениям об этих последних минутах. На всем, чем делились, что завещали они друг другу на этом извилистом пути, ведущем в мрачные подземелья под мутный свет повешенного на дверь фонаря, в эти мгновенья разлуки — увы, слишком, недолгой, ведь на исходе ночи они вновь будут вместе, объединенные смертью, — на всем этом лежит печать потусторонности. Последние

слова идущих на смерть, трагически одинокие, беспомощно метались в напрасной надежде на отзвук.

Палачи же были слишком заняты, чтобы помнить имена и лица.

Палачи не могут быть свидетелями истории.

А те, кого миновала черная палка укрывшихся под масками карателей? Что рассказывают уцелевшие о своих погибших товарищах по заключению?

Их воспоминания отрывочны. Дирекция полиции постоянно переводила их с места на место. По мнению старого партийного деятеля Йордана Милева, это делалось для того, «чтобы усилить моральное давление и лишить нас даже того утешения, которое мы находили в сочувствии товарищей. Полицейские каждый вечер переводили нас в другие камеры, к новым заключенным». Я бы прибавил, что перемещения эти преследовали также еще одну цель — сделать менее заметным исчезновение отдельных людей. Возможно, что именно это было основной целью.

В скудных строках воспоминаний я ищу имена и события, связанные с героями этой книги. К сожалению, их очень мало. А о некоторых — ни слова! Может быть, я мало искал, ведь жертв были тысячи, а тех, кто делил с ними заключение, еще больше. Мне кажется, что рассказать все о последних днях погибших — задача, которую невозможно выполнить до конца.

Но пусть эти воспоминания скудны и отрывочны — мы все-таки пойдем по их еле заметным, но светлым следам...

«Меня ввели в камеру, где были одни женщины. Все молча собрались вокруг Анны Маймунковой, только что вернувшейся с допроса. Она была в очень тяжелом состоянии: синяя от побоев, в разорванной одежде, почти без сознания. Я под села к ней, ласкала, укрывала, а она сказала мне только:

— Передай товарищам... пусть не беспокоятся.

Этим она хотела сказать, что никого не выдала».

Это воспоминания Русаны Мулетаровой, жены коммуниста — депутата Народного собрания и советника Софийского муниципалитета, адвоката Василя Мулетарова, который тоже был задержан и находился здесь же, в Дирекции полиции. В 1954 году она придет на процесс в напрасной надежде узнать здесь

что-нибудь о своем «без вести пропавшем» муже. Его имя прозвучит лишь в смутных воспоминаниях подсудимого Петра Сапунова, который видел, как Мулетарова отдельно от всех посадили в машину. И больше ничего.

Анну Маймункову допрашивали с особым ожесточением. При первой же встрече с полицейским следователем она гордо отказалась отвечать на все его вопросы. Для полицейских это означало, что она знает слишком много. Сколько же дней продолжались ее нечеловеческие муки, если все, кто видел ее в Дирекции полиции, в один голос утверждают: Анну Маймункову пытали особенно жестоко. Последним видел ее Александр Ламбрев: «В коридоре я встретил Анну Маймункову, когда ее вели с допроса, всю избитую... На следующий день мы узнали, что она умерла...»

Анна Май! Я думаю о ее судьбе, такой похожей на тысячи других судеб и вместе с тем такой отличной от них. Как угасла эта гордая, мечтательная, твердая и такая нежная женщина? Наверно, жизнь капля за каплей вытекала из ее истерзанного побоями тела, один за другим таяли в сознании воспоминания, образы любимых, уходила способность воспринимать то, что происходит вокруг. Но лишь с последним ударом сердца, с последней, вырвавшейся из легких струйкой воздуха — в самом конце! — ушла от нее воля, несломленная, непобежденная! Где это было? В камере озверевших палачей-следователей? В одиночке, предназначенной для особо опасных преступников? В сыром подвале Дирекции? След, оставленный Анной Маймунковой, приводит лишь к словам: «Передай товарищам... пусть не беспокоятся...» А дальше непреодолимая тайна.

«В угловой камере, куда нас поместили,— рассказывает Любен Дюгмеджиев,— мы проделали в двери дырочку в виде конуса и приладили к ней затычку. Потом ее вынимали и наблюдали за всем, что происходило в коридоре. Однажды вечером мы видели, как несли доктора Ивана Пашова, избитого до потери сознания. Видели, как Слави Колев пытался броситься в пролет лестницы, когда его вели на допрос и новые пытки... Но у него на это не хватило сил, и надзиратели его схватили...»

В сохранившихся воспоминаниях имена Ламби Кандева и Жеко Димитрова всегда стоят рядом. Одного за другим вывели их из камеры поздно ночью 18 апреля. Наверно, они так и оставались вместе под брезентовым верхом фургона, в каменном подземелье казармы. Потом одного из них увели в закут к палатам. Через пять минут другого. Чтобы затем вновь соединить их в черном мраке могилы.

На следующий день Райна Кандева напрасно будет ждать у себя в камере хоть какой-нибудь весточки от мужа. Надзиратель, который в первый день передал ей от него расческу, а на второй — носовой платок, на третий день только пожмет плечами в ответ на вопросительный взгляд женщины. Останется лишь безумная надежда: «А вдруг... Может быть...» Но пройдут дни, годы, и надежда тоже угаснет...

«В первый же вечер к нам в камеру вошли офицеры в черных масках, оглядели задержанных и указали на нескольких, по-видимому намеченных заранее. Одним из первых, кого взяли из нашей камеры, был Николай Грамовский, участник венгерской революции...» — вспоминает Александр Ламбрев.

По знаку офицера встает мужчина лет тридцати, надевает очки и направляется к двери. Студент факультета журналистики Лейпцигского университета Николай Грамовский знает, как умирают на баррикадах. Ведь он — один из спартаковцев Карла Либкнехта, он видел смерть и на фронтах гражданской войны в Советской России, и в рядах добровольцев венгерской Красной армии, видел, как умирают те, кто шел под знаменем с надписью «Славянская Красная гвардия». Но сейчас Грамовский — редактор газеты «Работническо единство», член Контрольной комиссии при Центральном Комитете Коммунистической партии — идет перед двумя офицерами, спускается по лестнице к затаившемуся под деревьями фургону, чтобы лицом к лицу встретиться с совсем другой смертью, неожиданной, словно бы всплывшей из глубин истории...

В Дирекцию полиции привозят большую группу задержанных в Радомире и его окрестностях. Но в переполненных камерах для них не находится места, и в ту же ночь военный грузовик увозит их в неизвестном направлении. Где могила этих героев-муче-

ников? Процесс 1954 года не смог дать ответа на этот вопрос.

— Назовите антифашистов, которых вы передали военным.

Свидетель обвинения напрягает память:

— Их было много. Твердо помню, что как надзиратель я лично передал военным для ликвидации Гео Милева, Сергея Румянцева, братьев Мулетаровых, Христофора Петрова, братьев Миленковых из Радомира, Серги Дамянова из села Сопица, Пауна Грозданова из Подуяне, Атанаса Цифарова, отставного полковника Проданова, Петра Янева, Спаса Вучкова из села Слатина...

Последние шаги всех этих героев теряются в полумраке складов и подземелий казарм.

Один лишь Спас Вучков из Дирекции полиции был вновь передан офицерам Укрепленного пункта.

Его заперли в небольшой комнате, подальше от солдатских помещений. Первую ночь он провел, сидя на голом полу и опираясь спиной о закопченную стену. На следующий вечер в комнату ввалилось человек десять офицеров во главе с подпоручиком Павловым. Обнажив снятые с карабинов штыки, офицеры склонились над заключенным. Но подпоручик Павлов не намерен спешить. Он только что оторвался от пирушки и решил дать возможность приятелям хорошенько развлечься. Движением руки он приказывает убрать штыки и вывести Вучкова во двор.

А там, во дворе, храпят необъезженные черные кони, прославленные буйные кони Миро Дойчева. Спаса Вучкова ставят между ними, опутывают кожаными поводьями. И отпускают коней...

Бешено мчатся испуганные животные по залитой лунным светом равнине — через поля, межи, по пыльной дороге... Тяжкая ноша, тянущая вниз их шеи, еще больше разжигает их ярость. Но напрасно пытаются они от нее освободиться. Постепенно усталость укрощает лошадей. Хрипя и задыхаясь, покрытые с ног до головы пеной и потом, они наконец останавливаются и покорно бредут обратно.

Веселая компания отвязывает ободранное, покрытое кровью и пылью тело и вносит его в комнату. Ставят посередине и не верят своим глазам. Могучий крестьянин лишь слегка пошатывается, да поскрипы-

вает его деревянная нога, выбирая положение устойчивей. словно бы ничего не случилось!

Ему набрасывают на голову одеяло, пытаются задушить. Но упрямый крестьянин стоит все так же прямо, шатается, но не падает...

И тогда, отшвырнув одеяло в угол, офицеры окружают его, выставив перед собой штыки. Подпоручик Павлов дает команду. Десять штыков вонзаются в большое, могучее тело.

Мучениям Спаса Вучкова приходит конец.

С этой минуты никому не известный крестьянин из Слатины становится сыном всей болгарской земли.

А через тридцать лет его вдова, бледная, в черном платке, встанет перед подсудимым Вылковым. Виножник гибели ее мужа хмуро смотрит перед собой: он ничего не помнит, ничего не знает.

Но она помнит все, что происходило тогда, в те страшные дни...

— Дотуда и следы их знаю... До крепостного батальона. Уж как мы их потом искали! И в Дирекцию ходили, и по школам. Никто не мог мне сказать, где мой муж. Уговорили меня пойти к самому военному министру, генералу Вылкову. Рассказала я ему все, что вам сейчас рассказываю, а он мне: в селах, говорит, многие сейчас чужие поля запахивают, поэтому и убийства случаются. Власть, говорит, за это не отвечает...

— Ваш муж действительно запахал чье-нибудь поле? — спрашивает председатель суда.

— Куда ему! Сколько он там мог наработать! С одной-то ногой! Это все староста его мучил! А я осталась с тремя детьми: одному три года, другому полтора, а третьим — вы уж меня извините — я в то время беременна была... Вызвал меня к себе староста. «Ты, — говорит, — не очень-то на мой счет язык распускай, а то вот стукну разок, сразу узнаешь, где он, твой Спас!» А я ему: «Бей, — говорю, — бей, поскорее отмучаюсь...» Повесила я на дверь черное: пусть люди знают, что Спас мой умер, а они что сделали? Сорвали с ворот траурную ленту и стали на моих глазах ею пыль в общине со столов стирать... Вы уж, товарищ судья, постарайтесь. Главное, старосту заставьте — пусть скажет, куда он его дел!

— Неужели староста до сих пор жив?

— Жив!

Проходят дни, недели — моторы черных фургонов по ночам продолжают оглашать ревом пустынные улицы Софии. Группы полицейских — и в штатском, и в форме, — держась как можно теснее, входят во дворы, колотят в двери, выводят намеченные жертвы... Неумолимо действует чудовищный механизм, направленный против человека, против его права мыслить, и со слепой методичностью топчет, души...

Иногда за крепко запертыми дверями кроются неожиданности. В ответ на грубый полицейский стук из-за них раздаются выстрелы. Выстрел встретил полицейских, явившихся арестовать бывшего капитана инженерных войск, журналиста и композитора Ивана Минкова. После выстрела наступила странная тишина — и лишь спустя несколько часов полицейские, преодолев страх, решились взломать дверь. И нашли за ней мертвого Минкова, который предпочел сам положить конец своей жизни, чтобы не дать это сделать врагам.

Минков — из тех коммунистов, кого полиция искала особенно рьяно. Вместе с Костой Янковым и Марко Фридманом он был одним из руководителей Военной организации Коммунистической партии. Именно им власти предъявляли самые тяжкие обвинения в связи со взрывом в соборе.

В тот же день 20 апреля полиция нападает на след Косты Янкова, скрывавшегося в доме Христо Коджейкова, который в это время уже сидел в тюрьме за коммунистическую деятельность. Сдаться Янков отказался. Дом оцепляют сотни полицейских и военных, но никто не стреляет — генерал Вылков приказал взять живым этого опасного «врага государства». Коста Янков стоит у окна, готовый принять на себя ружейный огонь.

Между военными и полицейскими снует капитан Кочо Стоянов, новый полицейский комендант Софии. По его приказанию из тюрьмы привозят Христо Коджейкова, надеясь, что он убедит Янкова сдаться. За эту услугу Коджейкову обещана свобода. Несколько минут напряженного молчания, и в доме загремели выстрелы. Обнявшись, друзья на миг появляются в окне — они готовы погибнуть вместе. И они погибают, сражаясь до последней пули, в пламени подожжен-

ного полицейскими дома, предпочтя смерть в огне предательству и позору.

В Центральном музее революционного движения хранится увеличенная копия снимка, сделанного через несколько минут после того, как пламя стихло и полицейские вынесли во двор два обгоревших трупа. Знают ли нынешние посетители музея, какой апофеоз долга и товарищества запечатлел тогда бесстрашный объектив?

Я думаю о прекрасном мужестве Косты Янкова. Но еще больше — о стоявшем рядом с ним заключенном, обремененном самой тяжелой миссией в своей жизни. Он был на шаг от свободы...

Впрочем, стоит ли еще рассуждать об этом невероятном подвиге? Он говорит сам за себя.

Марко Фридман сначала содержался в Дирекции полиции, потом его перевели в Центральную тюрьму и предали суду за участие в подготовке взрыва. Вот что пишет арестованный тогда же Любен Дюгмеджиев:

«Однажды утром мы увидели Марко Фридмана. Его вели на допрос. Руки у него были связаны за спиной, в рот ему кто-то вставил сигарету, которой он жадно затягивался. Он знал, что его приговорят к смерти, но был необычайно спокоен и бодр...»

Как пишут все газеты тех дней, Марко Фридман встретил смертный приговор спокойно, с достоинством. Черноволосый тридцатитрехлетний человек вышел из зала суда твердым шагом, с гордо поднятой головой...

Остаются считанные часы. Его увозят в Центральную тюрьму в камеру смертников. И в эти часы, когда у других на его месте от ужаса цепенели бы мысли, Марко Фридман потребовал у тюремщиков перо и бумагу. Требование было выполнено. И он пишет свое последнее письмо — царю.

«Знаю — мне осталось жить всего несколько часов. Но не с просьбой о помиловании обращаюсь я к вам, Ваше величество... Я приговорен к смерти через повешение. Не за вульгарное преступление. Моя невиновность в подготовке взрыва была доказана судом. Я приговорен, потому что был активным членом Коммунистической партии, потому что с четырнадцати лет честно и бескорыстно служил своему на-

роду. Служил так, как считал лучшим, как верный воин, сражающийся за свои идеи. Я всегда был на своем посту, как солдат. И, как солдат, хочу умереть — с открытой грудью, спокойно дожидаясь смертоносной пули.

Ваше величество!

Позвольте тому, кто должен умереть через несколько часов, попросить для себя лишь одного: публичного расстрела вместо повешения...»

Он не просит о помиловании — для него это унижительно. Не отрекается от своих идей — это значит запятнать свою жизнь. Идя на смерть, он просит только об одном — дать ему возможность умереть достойной смертью от пули, так, как погибают в сражении!

Напрасно!

На голом пустыре близ Софии, недалеко от места, где сейчас находится товарная станция Сердика, на глазах множества потрясенных людей Марко Фридман был повешен.

Для героев нет недостойной смерти. Смерть у них всегда одна — героическая!

Я думаю о высоте духа, которой обладают лишь люди ясной мысли и предельной честности. Когда-то я представлял себе людей, запертых в камерах Дирекции полиции, в тюрьмах, в школьных классах, суровыми, задумчивыми, исполненными твердой решимости, как и подобает тем, кто перешагнул черту обычных житейских дел. И с каким удивлением прочел я страницы из книги Тодора Павлова «Лучи в преисподней», раскрывшие мне нечто совсем другое. В своих «Письмах из тюрьмы» Павлов пишет:

«...Даже после апреля 1925 года, в самые кошмарные дни и ночи, проведенные в Общественной безопасности, среди нас не умолкали смех и песня, наш смех и наша песня. Сначала они раздавались редко, а потом все чаще и чаще, к великому изумлению всех этих. Помню гимназию Фотинова, где я, арестованный под чужим именем, провел около десяти дней в гимнастическом зале, битком набитом заключенными. В дни, когда «исчезновения без вести» не только не кончились, но даже не сократились, в этом зале устраивались... утренники юмора! А в самом Управлении... Но как тебе это описать? Что происхо-

дливо по ночам, ты уже представляешь себе довольно ясно. Вообрази сейчас следующую картину. Кого-нибудь из нас приводят, или, вернее, швыряют в камеру среди ночи, избитого, синего, распухшего, оборванного, растрепанного, мокрого. Если бы такое случилось изредка и не с каждым, и то нетрудно угадать, какое все это должно производить впечатление. Но так было каждую ночь со всеми по очереди, а иногда и с целыми группами. Нервы у всех были напряжены до такой степени, что, казалось, остается только сойти с ума... или, несмотря ни на что, начать смеяться. Мы в нашей камере выбрали второе, и едва часовой и агенты убирались от нашей двери, мы принимались, во-первых, за физическое лечение пострадавших массажем и компрессами, а во-вторых, оказывали товарищескую взаимопомощь главным образом смехом и шутками...»

Похоже, что настоящие люди — это те, кто умеет в час страшного испытания сохранить все, чем они жили раньше, все человеческое...

К этим страницам, посвященным нравственной силе человека-борца, я бы прибавил несколько слов об одном малоизвестном герое апреля 1925 года — об офицере-единофронтовце Георгии Цаневе. Александр Петрович, который по чистой случайности не оказался рядом с домом, где были осаждены Коста Янков и Христо Коджейков, — может быть, у него просто еще не было вкуса к открытому убийству, — сообщил суду слова своего приятеля поручика Радева. Радев рассказывал ему, что, когда во двор вынесли еще дымящиеся, полусгоревшие тела обоих коммунистов, в окне соседнего дома показался скрывавшийся от властей Георгий Цанев и гневно обратился к Кочо Стоянову: «Ты еще не насытился кровью, убийца?»

И Радев добавил: «Просто сам сунулся к нам в руки...»

Так, неожиданно для самих себя, военно-полицейская шайка, посланная, чтобы взять живым Косту Янкова, ушла из сожженного дома не с пустыми руками. Своим «безрассудным» поступком Георгий Цанев поставил себя в один ряд со своими товарищами. Видно, очень уж сильным и непреодолимым был порыв этого человека, если он заставил его забыть о себе, об опасности, которой он подвергался!

А дальше его следы ведут в Дирекцию полиции. Один из подсудимых 1954 года, Тома Прендов, видел Георгия Цанева за несколько минут до того, как его убили.

— Заглянув через оконце в полутемную комнату, где были собраны люди, привезенные для ликвидации,— рассказывает Прендов,— я увидел знакомого. И похолодел. Это был Георгий Цанев. Я вышел во двор. Очень на меня сильно подействовал вид знакомого человека...

И с запоздалым раскаянием добавляет:

— Жизнь каждого человека одинаково ценна.

Этим Прендов, видимо, хотел напомнить суду о ценности своей собственной жизни. Бывшие однокурсники, вместе с Цаневым изучавшие тактику и военные уставы, без колебаний посадили своего одноклассника на расшатанный ящик, чтобы задать ему «невинный» вопрос: «Откуда у тебя это кольцо?» — и набросить ему на шею петлю...

Передо мной лежит одно из последних писем Димитра Грынчарова, виднейшего земледельца-единофронтовца. Военная полиция искала его долго и безрезультатно — он почти две недели успешно скрывался на нелегальной квартире в доме номер 93 по улице Царя Самуила. Но когда кольцо полицейской блокады с каждым днем все туже стало смыкаться вокруг этого дома, Димитр Грынчаров решил оставить Софию и скрыться у своих родных в селе Дырвеница.

Перед отъездом из Софии 27 апреля он написал дочери: «Машина устроена так, что ей нужны жертвы — виновные и безвинные. Реакция жаждет крови и человеческих голов... Но в конце концов ее дело и ее расчеты потерпят крах! Ее политика не может привести ни к чему другому, кроме гражданской войны, а в этой войне рано или поздно победителем окажется народ...»

На следующий день Димитру Грынчарову удалось укрыться в Дырвенице. Но предательство уже ползло по его следам. Обнаруженный полицией, он принял бой, оставив для себя последнюю пулю.

Нет, невозможно описать каждого в этой колонне, достигающей горизонта наших дней и состоящей из таких ярких, мужественных людей... Сначала я ду-

мал, что книга моя должна рассказать о каждом из них в отдельности, но потом убедился, что на это не хватит целой жизни.

И я опять возвращаюсь к словам, с которых начал эту книгу: в мою задачу не входит дать исторически исчерпывающую картину. Я хотел лишь бегло и порой даже пристрастно заглянуть в события, которые столько лет были тайной, недоступной сознанию народа. А больше всего я хотел воскресить те, мало кому известные, пощаженные временем следы, которые могли бы очертить контуры одной из самых драматических битв нашей новой истории: поединка между бездушными силами наступающего фашизма и непримиримой мыслью и духом народа.

20 апреля капитан Радев в сопровождении двух агентов в штатском вошел в квартиру отставного офицера, инвалида войны, Динола Динкова, журналиста, сотрудничавшего в изданиях Земледельческого союза. Его увезли в Дирекцию полиции. Две недели родные не могли ничего о нем узнать. Лишь 6 мая к брату Динкова явился незнакомец и со словами: «Это тебе от твоего брата» — вручил ему сигарету, а затем торопливо распрощался...

В сигарете оказалось письмо Динола Динкова. Всего несколько слов: «Пока жив. Обнимаю всех. Динол».

Но уже в ночь на 6 мая на него указала палка офицера-карателя. Динкова увезли — и больше никаких следов!

Брат Динола Динкова рассказал на суде эту историю, держа в руках крохотный квадратный клочок бумаги с последними словами без вести пропавшего... Все по-человечески просто и сдержанно и в то же время невыразимо мучительно, непосильно для сознания.

Его спросили:

— Вы можете узнать протез своего брата? — и показали найденный в общей могиле протез и другие вещи.

— Да, это тот самый протез, с левой ноги. И мундштук его, абсолютно точно. И галстук, темно-лиловый простой галстук, какие он любил носить...

Я долго думал об этих словах и всей горестной судьбе инвалида войны Динола Динкова.

И о его брате.

Вот точно так же судья покажет вдове и брату Гео Милева его искусственный глаз.

«Мы находимся на скрещении поэзии и политики — и я знаю, что вы мне возразите: Закон о защите государства не ограничивает свободы мысли. Да, это верно, так записано и в конституции. Но вот свежий пример: я был арестован за одну из моих поэм, в которую я вложил, по-моему, немаловажную мысль: отрицание всего, что тяготеет над человеком как кровавый произвол (судьба) неведомых темных стихий, сосредоточенных в некой слепой фикции, именуемой богом. Я попытался в моей поэме передать ужас, который вызывают у человека события, подобные тому, какое стало моей темой, а также веру в возможность иного, лучшего будущего. Но прокурор завел против моей поэмы дело по статье пятой Закона о защите государства. Почему? Потому что она называется «Сентябрь». Если это слово стало страшным призраком для тех, у кого нечиста совесть, то виноват в этом не я...»

Эти строки взяты из «Открытого письма г. Борису Вазову», написанного Гео Милевым 30 января 1925 года. Поэт уже отдан под суд за публикацию поэмы «Сентябрь». Много месяцев члены Софийского окружного суда листают конфискованный номер журнала «Пламя», где напечатана поэма, мудруют над дерзкими и необычными строчками. Будь подсудимый замешан в подпольной деятельности или веда он какие-нибудь конкретные антиправительственные действия, все было бы проще простого. Но дело заведено против литературного произведения, и суду приходится выяснять не нелегальные связи, а направленность поэтического прозрения.

Однако тут вскоре происходят головокружительные апрельские события, и суду больше некогда раздумывать. Надо наконец объяснить этому самонадеянному поэту, какие цели должно преследовать искусство и в чем состоит его, поэта, преступление.

Я читаю обоснование приговора, вынесенного 14 мая Третьим уголовным отделением Софийского суда, и никак не могу отделаться от мысли, что тут

не обошлось без вмешательства какой-нибудь услужливой личности с литературной биржи.

«Искусство поэзии не знает ни национальности, ни партийности. Поэт должен петь о чистом искусстве...»

Гео Милев вынужден стоя выслушивать назидательные сентенции. Из-под нависшей пряди поблескивает глаз, сосредоточенный, изучающий. На судейском столе раскрыта папка с документами по его делу. Члены суда листают номер журнала с опубликованной в нем поэмой, которая не дает покоя стольким людям с нечистой совестью. Листают подшитые под соответствующими входящими номерами его статьи, где красным карандашом аккуратно очерчены «опасные» рассуждения о задачах искусства и призвании писателя. Именно против них направлены глубокомысленные стрелы приговора:

«Поэт может восхвалять или описывать с точки зрения своего искусства как прекрасные, так и мрачные явления реальной жизни, но все это он должен делать, не сходя с высокого трона поэзии, не опускаясь до мелких жизненных дрызг...»

Ах, как ему знаком этот стиль, эти высокопарные рассуждения! И поэт напрягает память, пытается угадать анонимного автора приговора.

Председатель суда переходит к самому главному:

«...приговаривается к одному году тюремного заключения, штрафу в 20 тысяч левов и лишению политических и гражданских прав сроком на два года...»

Что это значит? Поэт все еще не в силах осознать истинный смысл приговора.

Голос его звучит сухо, углубленно. Нет, он не собирается спорить — это бесполезно. И протестовать — случившегося не изменишь. Он просто говорит вслух, высказывает глубоко укоренившуюся, упрямую, неумолчную мысль — ответ на все происшедшее в дни, пока разбиралось его дело:

— Искусство может цвести только на почве свободы. Не притесняйте писателя, чтобы не убить искусство.

Поэт покидает зал суда. К тюремному заключению он приговорен условно. Теперь ему предстоит жить «по-новому» — в соответствии с решением суда.

Власти не дают поэту слишком долго раздумывать над своим положением. Всего лишь один день и одну ночь удалось ему прожить так, как предписано приговором.

На следующий день поэт разворачивает утренние газеты. Все они пишут о его деле. Лаконичнее всех газета «Зора»: «В Третьем уголовном отделении Софийского окружного суда слушалось дело писателя Гео Милева по поводу написанной им и опубликованной в журнале «Пламък» поэмы «Сентябрь». В соответствии с Законом о защите государства Милев приговорен к году тюремного заключения, штрафу в 20 тысяч левов и лишению политических и гражданских прав сроком на два года».

Газета «Утро» шипит от злости. Заметка словно списана с обвинительного заключения. Здесь говорится о «провокаторе Гео Милеве», осужденном за разжигание классовой ненависти в своей поэме «Сентябрь».

Не успел поэт дочитать заметку, как послышались удары в дверь.

Это было рано утром 15 мая.

Агент в штатском — по словам жены поэта, смуглый, среднего роста — пригласил Милева зайти в полицию, чтобы дать там небольшую справку. Гео Милев и его родные считают, что это как-то связано с приговором. Он спокойно выходит вместе с агентом. У Центрального рынка поэт достает из кармана пачку сигарет, угощает спутника. Оба ненадолго останавливаются, закуривают и идут дальше к Львиному мосту.

«Мы с его сестрой,— рассказывала на суде 1954 года вдова поэта Мила Гео Милева,— целый день бродили вокруг Дирекции полиции и наконец увидели Гео — на самом верху, в третьем от угла окне. Он тоже увидел нас и сделал знак рукой. Показывал, откуда войти...»

Поэты всегда трогательно доверчивы... Эта сигарета, протянутая незнакомой мрачной личности, тот знак, приглашающий стоящих на тротуаре жену и сестру войти, повидаться,—какая во всем этом человеческая естественность и доброта... Мимолетное светлое созвучие в мрачной апрельской симфонии.

«Однажды вечером в середине мая я попал в большую камеру, битком набитую неизвестными мне людьми. Но вскоре я увидел два знакомых лица — Иосиф Хербст и Гео Милев. Я пробрался к ним.

— Привет писателю! — обратился я к Гео Милеву, как, бывало, в мирные времена, когда мы беседовали с ним о книгах и корректурах.

— Привет наборщику! — спокойно ответил Гео Милев...

И дальше старый партийный деятель Йордан Милев рассказывает:

«Когда и почему тебя задержали?», «Что слышно о тех-то и о тех-то?», «Правда ли, что Христо Ясенов тоже был здесь?», «До каких пор будет продолжаться этот полицейский произвол?» — вот вопросы, которые мы задавали друг другу, сидя на голых досках и прижимаясь к закопченной стене.

Чем темнее становилось в камере, тем тревожнее сжимались сердца... Потому что мы уже знали — около одиннадцати часов вечера, когда город засыпает, перед зданием Дирекции останавливаются полицейские фургоны...

Гео Милев казался спокойным. Ужас смерти не помутил его рассудка, не сломил ни его воли, ни его веры. Сжав губы, он молча смотрел на уже потемневшее окно, в котором не было видно ни одной звездочки.

И вот: ж-ж-ж-ж — первый фургон останавливается у подъезда. Наступает самый ужасный час. Ни у кого больше нет сил смотреть на товарищей. Все кто чем может закрывают головы и затихают, обратившись в слух. Когда зазвучат тяжелые сапоги? Какая заскрипит дверь? Вот отпирают камеру в нижнем конце коридора. Соседнюю. А теперь, теперь нашу. Никто не шевелится...

— Встать!

И обреченные выходят, подгоняемые прикладами, упирающимися в самые спины.

К четырем часам утра бледный свет озарил наше забранное железом окно. Стих шум фургонов. Я открыл лицо. Рядом со мной все еще сидел Гео Милев.

На следующий вечер мы уже не были вместе. Меня снова перевели в другую камеру...

И вот все, написанное Гео Милевым,— погребальные колесницы «уродливых проз»¹, ночи восставшего Сентября, разорванные огненными вспышками, мрачные гости, стучащиеся в двери домов, предсмертные хрипы перерезанного горла,— все это опять приходит к нему, схватывает, влечет за собой, но уже не как поэтическое видение, а как страшная действительность.

Я вижу его, не сводящего глаз с решетки окна. Быть может, в этот час рождались у него новые, полные прозрения, светлые и горестные мысли? Понимал ли поэт, что и они, эти мысли, такие же пленники, как он сам, что им тоже суждено погибнуть?.

А может, в полумраке майских сумерек он повторял давно написанные строки, в которых вдруг воплотился суровый смысл жизни:

...Были когда-то лето, весна,
осень и зимняя стужа.
Был когда-то и май...

Когда-то вместе с первым теплым дыханием весенних морей появлялись звонкие вереницы ласточек, прилетали влюбленные соловьи — и румяные розы расцветали под каждым окном.

Когда-то...

Никогда! Не было ни весны, ни мая, ни ласточек, ни влюбленных соловьев, ни роз под каждым окном. Не было радости, не было счастья. Никогда...

Нет рая.

Май погиб навсегда.

Или эти строчки о стоящем под виселицей попе Андрее:

Рядом палач.
Капитан.
Веревка
готова.

Нет, невозможно отделить поэзию от жизни!

Палач-капитан набрасывает на голову поэта заранее приготовленную петлю и окончательно соединяет в единый сплав жизнь и поэзию.

Навеки.

На процессе 1954 года председатель суда каждому подсудимому задавал вопрос, не помнит ли тот, кем

¹ «Уродливые прозы» — стихотворение Гео Милева.—
Прим. перев.

и когда был удушен Гео Милев. Никто не помнил, никто ничего не знал.

А я не верю, что никто не помнил и не знал. В облике Гео Милева запоминалось все: и характерное лицо, и странная прядь волос, спущенная над искусственным глазом и закрывающая почти половину лица. По крайней мере хоть один должен был знать и помнить!

Но разве легко признаться, что ты убийца Гео Милева!

На следующий день после ареста брат поэта отправился к шефу болгарской полиции, своему земляку Владимиру Начеву. Тот обещал выяснить, где находится Гео Милев. Наутро брат Милева снова пришел к Начеву, на этот раз прямо домой. Начев сказал, что поэта больше нет в Дирекции и что он не знает, куда его отправили. На третий день попросил подождать, пока придут новые сведения. И лишь на четвертый день сообщил:

— Похоже, что твой брат попал в руки каких-то безответственных элементов, и нужно предполагать самое худшее.

Брат поэта и не подозревал, что Владимир Начев — один из наиболее «безответственных элементов» во всей этой истории. Он, как шеф полиции, каждый день получал от Кочо Стоянова список жертв, намеченных на следующую ночь.

В 1954 году в Илиянском форту была раскопана яма — могила тех, кого убили в казармах артиллерийского полка, — и на самом ее дне был найден череп со странным отверстием над правой бровью. На костях черепа налипли клочья грубой мешковины, на шее — остатки веревочной петли. Когда череп поднимали, из него выпал голубой стеклянный глаз.

И все время, пока продолжался процесс, пылал в зале суда глаз поэта. Напрасно убийцы отводили от него взгляды — гневный стальной отблеск находил их лица, обрушивая на них всю силу возмездия за тридцатилетний мрак в глубинах истоптанной, истерзанной, поруганной ими земли.

Возмездия самого человеческого, что есть в человеке.

А через несколько лет греческий поэт Яннис Рицос в краткие мгновения свободы, выпавшие между

двумя заточеньями, превратит луч этого негасимого
ока в строфы песни:

...Я видел глаз.
В зрачке его написана
всей революции история —
голубые виденья кровавых годин,
голубые виденья в красных знаменах.
Павшие борцы ввысь поднимают, несут
день голубой на своих руках.
Этот глаз не закрывается никогда,
глаз — голубая звезда
всех ночей...

«Я каждый день ходила в отдел Общественной безопасности и спрашивала о своем муже Георгии Цаневе. Ходила я и в военное министерство, но от-туда солдаты гнали меня штыками и кричали вслед:

— Убирайся отсюда, на русские рубли живете...

Была я с маленьким ребенком, трехлетним.

Однажды в Общественной безопасности мне ска-зали: «Он уже на свободе». Я страшно обрадовалась и как безумная кинулась бежать домой. А там... ни-кого.

На следующий день я взяла ребенка и пошла к военному министру. Плакала, умоляла, наконец про-пустили. Рассказываю генералу Вылкову о муже. Он позвонил, вошел Кочо Стоянов. Переглянулись они, и тот вышел. Тогда военный министр сказал мне:

— Тебе, сударыня, придется искать себе работу, чтобы прокормиться...

Нет, я не хотела верить, что мой муж убит...

— Ищи работу,— говорит министр,— твой муж уже...

Дальше я не слушала. Погибла последняя наде-жда...»

И молва понесла по всем уголкам страны эти ужасающие слова — «пропал без вести». В Дирекции полиции пожимают плечами и показывают родите-лям, женам и братьям книгу «исходящих», в которой против имени каждого задержанного черным по бе-лому написано: «освобожден» — с датой и подписью начальника канцелярии, с печатью.

К министру внутренних дел, министру юстиции, военному министру хлынул поток писем от родст-венников «освобожденных». Ответ всегда один и тот

же: «По-видимому, ваш отец (муж, брат) стал жертвой безответственных элементов». Дело доходит до Народного собрания.

12 июня созывается заседание Народного собрания для обсуждения запроса депутата Янко Сакизова о судьбе «пропавших без вести». Из-за отсутствия Сакизова его запрос излагает Константин Бозвелиев:

— Мы выражаем наше великое беспокойство по поводу такого большого количества арестов и безвинных жертв, пострадавших из-за доносов. Не будем предаваться иллюзиям, господа!

За министерским столом сидит генерал Вылков, рядом — министр юстиции Русев, тоже генерал. Весь их вид выражает крайнее изумление любой попыткой высказать какое-либо подозрение по отношению к органам власти.

— В нашем запросе, — продолжает Бозвелиев, — есть еще один пункт. К нам поступают жалобы родственников задержанных, которые хотят знать, где они находятся. Им отвечают, что, «вероятно, эти люди, чувствуя себя виновными, постарались куда-нибудь скрыться, чтобы второй раз не попасть в руки правосудия...».

Не считает ли нужным правительство обратить внимание на все эти жалобы? Тем более что они отнюдь не анонимны: в них называются имена и конкретные факты, и, значит, у правительства есть нить, которая может помочь в расследовании. Такое расследование необходимо провести немедленно, а его результаты широко опубликовать, чтобы успокоить граждан и доказать всему миру, что у нас царит законность, а не произвол...

Жидкие рукоплескания со скамей социал-демократов сопровождают слова старого социал-демократического деятеля. Но «большинство» вскакивает со своих мест, раздаются язвительные голоса, топот.

Угрожающие реплики доносятся и от министерского стола. Бозвелиев смущен. Он еще раз поднимается на трибуну:

— Мы далеки от мысли обвинять центральную власть. У нас нет для этого ни желания... ни основания...

На трибуне генерал Вылков. Военное положение делает его ответственным за все, что происходит в

стране. И под сводами Народного собрания раздаются в который уже раз слова о порядке, законности, полной гарантии, какой обеспечена жизнь каждого болгарина. О «пропавших без вести» будет упомянуто только однажды:

— К сожалению, некоторые были задержаны не властями, а частными лицами...

Следовательно, хочет сказать генерал, если и есть пропавшие, то в этом опять-таки виновны все те же «безответственные элементы».

Но разве можно успокоить народ столь наивными объяснениями? Молва подступает к тяжелым дверям военного министерства, ходят слухи о какой-то тайной военной организации.

Генерал не может вынести подобных обвинений. Его очередной приказ, обращенный к «дорогим офицерам, унтер-офицерам и солдатам», дает ответ всем этим «беспочвенным утверждениям»:

«В некоторых кругах обвиняют офицерство в том, что с тех пор, как в стране введено военное положение — да и раньше, — оно позволяло себе вершить произвол и убивать людей. Я уверен, что наше офицерство не может нести на своей чести такое пятно и никогда не позволит себе подобных действий. Есть люди, которые распускают такие слухи и, таким образом, надеются добиться осуществления своих целей.

Во имя Болгарии и чести армии призываю офицеров всегда и во всем быть примером и стоять на страже законов нашей страны...»

Конец приказа особенно патетичен:

«К этому призываю я вас во имя отечества!»

К возмущенному голосу военного министра присоединяется целый хор государственного пропагандистского аппарата.

«Ни о каком систематическом исчезновении людей в нашей стране нельзя говорить», — оповещает газета Цанкова «Демократически сговор». И, чтобы показать, насколько правящая партия далека от всех этих слухов, орган сговористов однажды утром преподносит своим читателям передовицу, озаглавленную... «Самокритика и партийная дисциплина».

Через два месяца после начала кровавых апрельских событий, когда число удушенных и расстрелян-

ных карательными отрядами достигло чудовищной цифры, военный министр все еще разглагольствует в парламенте о порядке и законности!

— Военное положение крайне необходимо и неизбежно для того, чтобы в стране на законных основаниях могли действовать военно-полевые суды. Количество следователей увеличено в пять раз именно затем, чтобы добиться ускорения процедуры... Мы хотим показать, что твердо стоим за конституционные свободы наших граждан, за нормальные, законные способы борьбы со своими противниками, даже с теми, кто выступает против государства...

Эти слова сказаны Вылковым в ответ на чье-то робкое предложение об отмене военного положения в стране.

А молва в это время уже разнесла новую страшную вестъ: не «без вести пропавшие», а заживо сожженные в печах Дирекции полиции!

Так ли это?

«Как старший надзиратель Дирекции, в чьем ведении находились арестованные, я могу подтвердить, что не видел и не слышал, чтобы в печах центрального отопления сжигали людей. Дирекция полиции находилась в центре города, и если бы хоть один человек был сожжен, то окрестное население сразу же поняло бы по запаху, что происходит что-то неладное. А других печей, кроме печи центрального отопления, в здании Дирекции не было».

Свидетель обвинения на процессе 1954 года, вероятно, прав — вряд ли в печах Дирекции полиции действительно сжигали людей. Возможно, что попытки такого рода имели место; в подвалах Дирекции рядом с котельной тоже велись допросы с побоями и пытками — тлеющие в печи угли могли натолкнуть палачей на подобную мысль. Подсудимый Порков со слов старшего инспектора Пане Бичева утверждал, что была попытка сжигать людей в печи центрального отопления. «Но, — сказал Бичев, — опыт был неудачен, и мы от этого отказались. Было решено людей, назначенных к ликвидации, отправлять в казармы».

Почему же тогда народная молва десятилетия подряд так настойчиво говорит о «заживо сожженных в печах Дирекции полиции»? Может быть, это связано с тем вполне обыденным фактом, что в течение всего апреля радиаторы Дирекции полиции, которую называли также «Общественной безопасностью», продолжали оставаться горячими, хотя погода тогда стояла необычно теплая и совершенно незачем было поддерживать в помещениях высокую температуру. Люди, запертые в битком набитых душных камерах и жадно глотавшие спертый, нагретый раскаленными радиаторами воздух, легко могли прийти к заключению, что огонь в печи поддерживается для них! И многие из тех, на кого указывала палка полуночных палачей, вероятно, уходили с мыслью, что их сожгут живыми.

Но их выводили на улицу, и видения огненных языков рассеивались...

Они садились на ящик в бараке или складе казармы с робкой надеждой, что, может быть, после допроса, когда станет ясна их невиновность, они будут освобождены.

И я думаю, что более жестоко — сжечь человека в огне или удушить в петле через мгновение после того, как его коснется надежда?

А центральное отопление Дирекции полиции, как выяснилось на процессе 1954 года, продолжало работать по той простой причине, что еще не наступил указанный в соответствующей инструкции срок прекращения топки. Обслуживающий персонал Дирекции всегда очень точно исполнял распоряжения полицейского начальства.

Я предполагаю, что генерала Вылкова и офицеров из карательных отрядов Кочо Стоянова вполне устраивала молва о сожжении арестованных в печах полиции. Это облегчало их строго секретные действия, в которые и вправду был посвящен строго ограниченный круг лиц. Слухи отвлекали внимание общественности от истинных виновников преступления и целых три десятилетия служили защитой палачам. До той самой не внушавшей им никаких подозрений весны 1954 года, когда начавшая распутываться нить наконец привела к ним...

Осенью 1925 года карательные группы Кочо Стоянова были охвачены серьезной тревогой. Воды переполненной осенними дождями Слатинской реки размывали одну из могил и понесли по течению несколько трупов. Об этом сообщила в полицию группа крестьян, грузивших речной песок. Кочо Стоянов принял незамедлительные меры. В ту же ночь он послал своих помощников очистить размывшую яму и перенести трупы на другое место. Капитану Цвятко Николову было поручено найти крестьян и заставить их молчать под страхом сурового наказания. Черный капитан, человек вполне достойный своего прозвища, выполнил поручение с таким усердием, что крестьяне заговорили только на процессе 1954 года.

Когда на следующий день полицейский следователь явился, чтобы осмотреть берега реки, то нашел там только пустую яму и никаких следов преступления...

Но вот новый тревожный сигнал! На этот раз из Илианского форта. Однажды ночью караульный начальник услышал полный ужаса крик часового:

— Иди сюда, господин начальник, посмотри!

Тот выскочил и увидел собак, рвущих... человеческую голову. Следы вели к старому колодцу, тому самому, который караульный начальник недавно предоставил в распоряжение офицеров Асена Лекарского и Цвятко Николова для хранения... тротила и других взрывчатых веществ. Так они ему объяснили, зачем каждую ночь в форт прибывают тяжело нагруженные фургоны... Караульный начальник немедленно сообщил о случившемся капитану Николову. Черный капитан приказал ему хранить полную тайну и в ту же ночь прибыл вместе со своими «облаками», чтобы засыпать яму еще более толстым слоем земли. Но и это не могло успокоить карателей. Прошло несколько дней, и Черный капитан снова явился в форт, на этот раз днем и на извозчике. Начальник караула хотел было отдать рапорт, но капитану Николову в тот день было не до служебных формальностей. Он привез с собой целый противень жареного мяса с рисом, салат, хлеб.

— Я буду обедать с солдатами!

За столом капитан неузнаваем — шутит, рассказывает анекдоты. Не упускает он и возможности за-

нять присутствующих, недоумевающих, к чему все это клонится, собственной личностью:

— Я — вторая достопримечательность Плевена. Этот город прославили две великие личности — Белый генерал — Скобелев и Черный капитан — Николай!

Но, несмотря на эти взрывы веселости, фигура капитана постепенно принимает свое обычное положение — сутулое, с вытянутой вперед головой... Лицо его все больше мрачнеет, глаза смотрят зло и хмуро. Он исподволь расспрашивает солдат, что они слышали о взрыве в соборе, о новых убийствах. Очевидно, хочет понять, каково их настроение и — самое важное — догадываются ли они о том, что зарыто в ямах.

С какими впечатлениями капитан покинул форт, остается загадкой. Единственно, о чем вспомнил на процессе бывший караульный начальник, — это что под конец капитан, прежде чем встать из-за стола, прямо пригрозил присутствующим:

— И не распускайте языки, а то...

И прорычал свое многозначительное: «М-м-м...»

Напрасно ожидающие, теряющие последние искорки надежды родственники «пропавших без вести» стучатся в двери министерств, засыпают просьбами и отчаянными письмами канцелярии, суды, полицейские ведомства. На улицах Софии появляется Виола Каравелова, жена Иосифа Хербста. В черном платье, прижав к груди портрет своего мужа, проходит она перед министерством юстиции, военным министерством, министерством внутренних дел. «Скажите мне, где мой муж?» — кричит женщина каждому встречному государственному чиновнику, полицейскому, военному...

Вместо ответа обезумевшие от напрасного ожидания люди слышат одно: ваших близких похитили неизвестные личности. Появляются и возмущенные опровержения «невинно оклеветанных», вроде опубликованного в печати письма Центрального правления Союза офицеров запаса, адресованного премьер-министру и правительству. Вот несколько строк из этого письма:

«Говорят об убийствах, об исчезновениях. Злоумышленники и заинтересованные люди распространяют по улицам и кофейням слух о том, что якобы офицеры запаса причастны к этим злодеяниям...

Нет, отвечаем мы. Деятельность нашего Союза ни в коей мере не дает оснований для подобных обвинений...

Наши товарищи по Союзу стали жертвой бессостыжных, подлых подозрений и клеветы...»

В Народном собрании вновь ставится вопрос о «пропавших без вести» — на этот раз по инициативе группы Земледельческого союза.

— Мне выпала нелегкая задача от имени парламентской группы БЗНС изложить запрос по поводу всех этих несчастий, исчезновения многих людей, убийств... После 16 апреля жертв стало бесчисленное множество. Невозможно понять, кому и зачем они понадобились.

Это говорит депутат Петр Минов. Он предъявляет правительству список деятелей Земледельческого союза, о судьбе которых ничего не известно. Рассказывает о письмах, посланных депутатам родственниками убитых и пропавших.

— Недавно мне была доставлена копия телеграммы, направленной премьер-министру. Читаю дословно:

«Господин премьер-министр!

Вы пришли к власти во имя спасения Болгарии и водворения мира в нашей истерзанной стране. Пустые слова.

Софийский военно-полевой суд в справке от 27 июня за номером 3905 признал, что мой муж не подлежит действию Закона о защите государства и должен быть незамедлительно освобожден. Однако Иосиф Хербст до настоящего времени находится неизвестно где, а у меня описывают имущество, подвергают обыскам и всякого рода издевательствам.

И за весь этот вопиющий произвол тоже отвечают «безответственные элементы»?

Я энергичнейшим образом настаиваю на немедленном разоблачении этой недостойной для каждого правового государства игры в прятки и на немедленном освобождении незаконно задержанных.

Господин премьер-министр! Господа депутаты!

Вы дали себе отдых (имеются в виду парламентские каникулы.— Н. Х.), и мы, жены тех, кого незаконно скрывают неизвестно где, тоже нуждаемся в отдыхе и успокоении.

Виола Каравелова-Хербст».

Только что,— продолжает Минов,— я, а также, наверное, другие депутаты получили письмо господина Мильо Касабова, Анастасии Касабовой и Милы Гео Милевой из Старой Загоры... Гео Милев... насколько я знаю, лицо не политическое. Он тоже исчез...

На этот раз на запрос земледельческих депутатов отвечает сам премьер-министр. Это длинная, несвязная речь, полная театральных эмоций и жестов. Вот один из ее характерных пассажей:

— Господин Минов восклицает: «Ваш режим, режим теперешнего правительства,— реакционный и кровавый режим, он ведет Болгарию к пропасти, к гибели. Болгария гибнет». Это последний пункт его запроса.

«Жалкая политика теперешнего правительства! Реакционная, кровавая...» Неужели им не надоело повторять одно и то же? Я теперь глух ко всему этому, мои слуховые нервы очерствели, и я уже больше не в состоянии прислушиваться к подобным разговорам и характеристикам...

Премьер-министр Цанков действительно глух. Горы полученных им писем вызывают к нему сотнями и тысячами голосов, но он ничего не слышит, как не слышит, например, слов Штерю Боева, отца похищенного и пропавшего без вести студента Стойко Штерева. Письмо отца так и осталось лежать нераспечатанным в папке господина премьер-министра.

И напрасно спрашивают, умоляют, ищут правды отцовские слова:

«Органы власти немые, а у меня разрывается сердце. Где мой сын Стойко, моя надежда и опора? Ваш ответ будет ответом всем...»

На процессе 1954 года письмо Штерю Боева станет одним из документов обвинения.

Без ответа останется и письмо Виолы Каравеловой-Хербст. Но потомок рода Каравеловых, дочь Петко Каравелова и сестра Лоры Яворовой¹ не соби-

¹ Петко Каравелов (1843—1903) — политический и государственный деятель, лидер Либеральной партии, один из

рается оставлять в покое виновников исчезновения ее мужа. Не получив от Народного собрания ответа на свое письмо, она передает для публикации в печати другое — «Открытое письмо председателю Народного собрания г. Кулеву и премьер-министру г. Цанкову». И несколько газет действительно публикуют это письмо.

Назревает публичный скандал — нечто, серьезно беспокоящее правительство. В конце концов ему приходится дать хоть какой-нибудь ответ.

Эту задачу берет на себя газета Цанкова «Демократически сговор». Ее цель — не успокоить встревоженную женщину — все равно для нее любые слова потеряли уже всякое значение, — а еще раз внушить общественности, что в стране сохраняются порядок и законность. Обрушившись на газеты, опубликовавшие письмо Каравеловой-Хербст, в котором спрашивается, «почему, кем и за что ее муж с 16 апреля до настоящего времени скрыт неизвестно где», «Демократически сговор» рекомендует:

«В нашей стране есть установленный порядок, в соответствии с которым госпожа Каравелова-Хербст может получить ответ и удовлетворение. Этот порядок указан в Законе об уголовном судопроизводстве. Вместо того чтобы рассылать по газетам «открытые письма», она должна была обратиться к соответствующим органам судебной власти и изложить им обстановку, при которой произошло задержание ее мужа, а также все прочие факты и подозрения».

Но и этого показалось мало журналистам Цанкова. Они сочли нужным добавить следующее:

«Болгарские суды дали достаточно доказательств своей независимости и строгого исполнения законов. Госпожа может быть уверена, что и в данном случае они выполнят свой долг».

Прочитав эти невероятные строки, я испытал глубокое сожаление, что процесс 1954 года не призвал к ответу журналистов тогдашней фашистской прессы. Они были бы достойной компанией понаторевшим в своем деле героям петли.

наиболее последовательных борцов за буржуазно-демократические свободы. Лора Каравелова — жена выдающегося болгарского поэта Пейо Яворова. — *Прим. перев.*

Больше всего просьб и жалоб поступает в полицейские канцелярии. Словечко «освобожден» вместо того, чтобы успокоить ищущих, ввергает их в еще большую тревогу. Вокруг Дирекции полиции сгущаются мрачные подозрения. Надо принимать какие-то меры. Так возникает мысль о публикации в полицейских бюллетенях списков «покинувших свои дома» и «пропавших без вести». Органам полиции вменяется в обязанность розыск этих лиц. Еще одна лицемерная попытка создать у людей иллюзию заботы властей о возвращении домой всех исчезнувших...

Но ни один из «освобожденных» так и не вернулся к родным. Снующие у входа в Дирекцию полиции обросшие личности цинично кидают тем, кто приходит сюда в жадной надежде получить хоть какое-нибудь известие:

— Поищите-ка их в селе Невозвратово...

Это их острота. Невозвратово, то есть место, откуда нет возврата.

Надежда, которую внушают родным опубликованные в полицейских бюллетенях списки «пропавших без вести», недолговечна. Общественное негодование с новой силой обрушивается на органы власти. Положение действительно становится серьезным. Авторитет «стражей порядка и закона» падает с угрожающей быстротой. Властям и в особенности полиции приходится выискивать срочные меры, чтобы спасти свой престиж и хоть как-то успокоить общественное мнение.

Все это носило чрезвычайно примитивный характер. У болгарских фашистов еще не было своего Геббельса, хотя в общих чертах они уже нащупывали средства воздействия на общественное мнение. И раньше всего они поняли, что внимание людей необходимо привлечь к вопросам, политически мало существенным, но весьма интригующим общество, и прежде всего обывателей.

И в печати одно за другим появляются специальные распоряжения Дирекции полиции.

Первое из них относится к женщинам легкого поведения. Цель его — внушить народу, что болгарская полиция не только бдительно охраняет жизнь и имущество граждан, но и заботится о сохранении моральных устоев общества. Предав гласности несколь-

ко дразнящих любопытство случаев, полиция строжайше запрещает хозяевам столичных гостиниц, постоянных дворов и питейных заведений нанимать в услужение женщин... моложе 35 лет. И еще: молодым сомнительного поведения женщинам запрещается снимать комнаты в гостиницах...

Другое распоряжение появилось в печати под заглавием «Новые приемы вымогательства ценностей у граждан». Население предупреждается о появлении новых «апашей», которые поджидают учеников швейных мастерских, когда их посылают отнести готовый заказ. «Апаши» «показывают дорогу» наивным ребятишкам, затем берут у них костюм и, скрывшись ненадолго в каком-либо подъезде, выносят мальчикам по 10—15 левов чаевых. Костюм, разумеется, исчезает...

Наряду с этими преступлениями немалое внимание уделяется новым танцам. По мнению прессы, именно они представляют сейчас самое большое общественное зло. Газета правящей партии в месяцы наиболее активной «деятельности» карательных групп Кочо Стоянова не переставала писать об охватившей страну «лишьей напасти», как она называла новый танец — фокстрот. С упоением описывались клинические случаи травм, полученных во время танцев, обмороки, скандалы с трагическим исходом. Газеты публиковали обращения к министрам и органам власти, в которых возмущенные граждане требовали строжайшего запрещения современных танцев.

Вот несколько характерных строк из одного такого письма, адресованного министру народного просвещения и опубликованного в газете Цанкова:

«Придя в ужас от многих примеров и фактов с клиническим исходом, из которых нам стало ясно, что современные танцы, которые незаметным и коварным способом проникают в кабаре, систематически губят девичью честь и насаждают навыки, которые в основе своей направлены против здравого разума и воли и против воспитания чистого, солидного характера и есть не что иное, как скользкая дорожка к пропасти; находя, что эти психоонанические танцы не могут быть допущены в нашем народе, особенно принимая во внимание отличительные качества их

чувственно-эффективных форм, еще недостаточно изученных на более высшей ступени психического прогресса, мы решили, господин министр, просить Вас о содействии, чтоб был принят закон, который положит конец этому общественному скандалу, и мы спасем страну от разгрома...»

И все это заполняло газеты и в качестве духовной пищи предлагалось общественному мнению в дни национальной трагедии! Невероятно и в то же время как просто и объяснимо.

Слух о «пропавших без вести» по-своему взволновал еще одну весьма грязную категорию людей, которые в военное время носят позорное название мародеров.

Зашевелились, выползли скрывавшиеся на дне общества паразиты, почуяв, что трагедия тех, кто разыскивает родных, может стать для них неисчерпаемым источником наживы. Одни из них, может быть самые примитивные, попросту копируют представителей власти: по ночам врываются в дома, устраивают обыски, присваивая при этом разные вещи и драгоценности. Другие, вероятно не любящие черной работы, занимаются откровенным вымогательством. «Нам велено арестовать такого-то... впрочем... можно будет кое-что сделать... все мы люди...» И ночным посетителям выносят все, что имеет хоть какую-нибудь ценность. Чаще всего — последние семейные сбережения.

Но отвратительней всех — категория мародеров-утешителей. Они крадут у людей не только деньги или ценности, но и сокровеннейшие чувства, оживив их сначала ложной надеждой. Они останавливаются на пороге погруженного в траур дома и говорят: «Он попросил, чтобы я принес ему...» Матери и жены выкладывают неожиданному благодетелю все — одежду, еду, деньги... И так — через день, через два... Пока вдруг «приятель» их отца или сына не исчезает, как дым. И вместе с ним цинично ограбленная надежда.

Однако с наибольшим размахом действуют мародеры, каким-либо образом связанные с сильными дня. Среди них: служащие полицейского ведомства, шоферы министров, мелкие чиновники из канцеля-

рий важных персон. Эти самые ненасытные. Они выбирают себе жертвы в наиболее состоятельных семьях, но не являются к ним лично, а стараются небрежно намекнуть кому-нибудь из близких, что они, пожалуй, могут кое-что сделать для освобождения пропавшего.

Эти «работали» крупно, сочиняя невероятнейшие истории, чтобы выжать из своих жертв как можно больше денег. Среди них выделяется фигура Господина Пенева, телохранителя министра иностранных дел Калфова. Вот уж кто был поистине неутомим.

Одной из жертв Пенева стала семья коммуниста, видного профсоюзного деятеля и известного врача д-ра Васи́ла Иванова. Пенев нашел одного из родственников врача и намекнул, что кое-что знает о его судьбе. При этом он сочинил целую историю, будто несколько намеченных к ликвидации человек, среди которых и д-р Иванов, скрыты в безопасном месте некими «доброжелателями». И что эти «доброжелатели» согласны освободить их только за большой выкуп.

Что должна была сделать жена Васи́ла Иванова, когда ей сообщили об этом? Конечно, все это слишком напоминает элементарную ложь, но все же? Ведь если в словах телохранителя есть хоть один процент правды, разве могла она отказаться от самой малой возможности спасти мужа, а потом всю жизнь мучиться угрызениями совести!

«После долгих терзаний,— рассказывает Кера Иванова,— я отправилась в банк Бохора Лиачева, взяла там заем в сто тысяч левов и через своего родственника передала эти деньги телохранителю Калфова. Долг этот я выплатила, продав через некоторое время рентгеновский аппарат мужа.

Передав деньги, я несколько успокоилась и стала ждать освобождения. Но вместо этого мне сообщили, что я должна передать фотокарточку мужа и еще десять тысяч левов, чтобы можно было добыть для него паспорт и переправить его за границу. Покамест все еще выглядело вполне вероятным. Но когда я передала эти деньги и, не получая от мужа никаких вестей, вдруг узнала, что мне нужно поехать в Русе и там на пристани увидеться с ним перед отплытием

парохода, я окончательно поняла, что все это ложь и что злодеям осталось только расправиться и со мной, чтобы окончательно похоронить тайну.

Тогда я лично пошла к этому типу Пеневу и спросила его, почему он, взяв деньги, до сих пор не освободил моего мужа. Он очень грубо ответил мне, что никаких денег не получал и понятия не имеет о всех этих делах. Я потребовала, чтобы он встретился со мной и моим родственником. Он гордо согласился, мы назначили час и место, но на следующий день Пенев на эту встречу не явился, и вообще я больше не могла с ним связаться.

Тут только я поняла, до чего может дойти человеческая низость и подлость. Ведь они брали с меня деньги за человека, которого сами же убили полгода назад».

Я поинтересовался дальнейшей биографией бывшего телохранителя министра Господина Пенева. Оказалось, что он уже много лет не живет в Болгарии — эмигрировал в Америку. Что его забросило туда — нависшая тень возмездия за деяния, подобные только что описанному? Или, может быть, манящие перспективы еще более широкого поля действия, достойного его предприимчивой натуры?

Сколько времени продолжалась деятельность карательных отрядов Кочо Стоянова? Обвиняемые на процессе 1954 года отвечают: «Месяц-два...» Срок очень произвольный, с тем же успехом можно было бы сказать «три-четыре месяца». Если верить книге из канцелярии Дирекции полиции, задержанные «освобождались», чтобы потом пропасть без вести, в течение всего лета и осени 1925 года. А если заглянуть в периодический бюллетень Дирекции, то мы увидим, что рубрика «пропавшие без вести» сохранялась в нем до конца года и известное время после этого. Здесь, разумеется, не имеются в виду исчезновения чисто уголовного порядка.

Листая полицейский бюллетень, среди имен пропавших без вести я неожиданно встретил имя Анны Т. Факт в высшей степени странный, так как я уже знал, что Т. — одна из любовниц генерала Вылкова. Вспомнились слова подсудимого Поркова: «Именно тогда распространился слух, что генерал без всякой причины бросил жену и стал жить с Ан-

ной Т.— женщиной легкого поведения. На эту тему даже появились порнографические открытки...»

Похоже, что опьяненный властью, замкнутый и необщительный почти пятидесятилетний генерал именно в эти месяцы переживал свою вторую молодость. Я пренебрег бы этими интимными подробностями его личной жизни, слишком уж неуместными на фоне народной трагедии, если бы не это совпадение. Они дают возможность заглянуть в психологию стоящего у власти фашиста, у которой, по-видимому, есть свои закономерности. Вероятно, ощущение своей власти над людьми, возможность вершить человеческие судьбы взглядом или мановением руки имеет и какие-то вторичные последствия.

Однажды вечером после своего возвращения с курорта жена Вылкова нашла под подушкой чью-то чужую серьгу. Скандал был неизбежен. Встревоженному генералу совсем не хотелось делать общественным достоянием свои интимные тайны. Ведь это самым нелепым образом могло пресечь его стремительную карьеру. На помощь пришел всегда готовый к услугам Никола Нитов, исполнявший при генерале нечто вроде должности неофициального секретаря. Быстро вырабатывается план действий. Нитов должен явиться к охваченной подозрениями генеральше и сказать, что, посетив Вылкова во время болезни, он уронил сережку своей жены — «продолговатую, с зеленым камнем... Госпоже генеральше она случайно не попадалась?..»

В центре всей это полууголовной истории была Анна Т. Она нарочно оставила под подушкой свою сережку, хитроумно рассчитав, что это может вызвать скандал, который заставит генерала уйти из семьи.

Это ей почти удалось. Но существовала еще одна помеха — ее собственная семья. После одного весьма длительного пребывания Анны Т. за границей на предмет «лечения нервов» — генерал Вылков в это время тоже находился за пределами Болгарии — ее муж начал догадываться об истинных целях поездки. Когда жена вернулась, он попросту выгнал ее из дома. Но генерал, боясь общественного скандала, не был готов к тому, чтобы окончательно взять ее к себе. Пришлось ей, признавшись во всем, изобразить

раскаяние, и муж «ради детей» простил ее. Однако не прошло и нескольких месяцев, как Анна Т. вновь исчезла из дома. Муж повсюду разыскивал ее, но безрезультатно. Он даже ходил к генералу Вылкову, надеясь узнать что-нибудь от него. Генерал, который, как всегда, «ничего не слышал, ничего не знал», и на этот раз остался верным себе. Беспомощно разводя руками, он намекнул, что когда столько людей исчезают, не исключено... быть может, что и его супруга... И направил изумленного мужа в Дирекцию полиции, где ему пообещали начать поиски согласно установленному порядку.

Так имя Анны Т. появилось в полицейском бюллетене. Еще одна «пропавшая без вести»!

А в это время любовница военного министра, которую он лично снабдил заграничным паспортом, наслаждалась жизнью в одном из роскошнейших венских отелей, ожидая дня условленного свидания.

У каждого человека есть область, в которой он проявляется полнее всего. Рассказанный выше случай еще раз подтверждает, что генерал наиболее ярко проявил себя именно в области бесследных исчезновений.

Но это всего лишь минутное отклонение от основной линии нашего рассказа. В конце лета 1925 года правительство Цанкова — Вылкова все чаще подвергается обвинениям и нападкам. Первое оцепенение, вызванное апрельскими событиями, все заметнее уступает место протесту. В обществе крепнет убеждение, что существует заговор, направленный против наиболее прогрессивных представителей народа. Недовольство правительством и лично премьер-министром Цанковым начинает охватывать даже его идейных единомышленников. Поводом к нему становится также все более явный раскол «Демократического сговора», совершенный по прямой указке царя. На одной стороне оказывается генерал Вылков, самый близкий к дворцу член правительства, на другой — Цанков и министр иностранных дел Калфов. В довершение всего распространяется слух, что царь дал понять, что он не стал бы возражать против смелости главы правительства.

Но разве легко оторвать от премьерского кресла хищно вцепившегося в него политика с профессорским титулом, к тому же уверенного, что он находится в самом начале своей карьеры! Крепко зажав уши, чтобы не слышать критики и обвинений, закрыв глаза на ежедневно совершающиеся преступления, он с тупым упрямством продолжает твердить о своих заслугах перед государством и обществом, о высоких идеалах, которым служит...

— Мы хотим братского примирения...— заявляет он в большой речи перед депутатами Народного собрания.

Депутаты высказывают опасение, что за границей авторитет правительства окончательно упал...

— Европа ценит нас очень высоко! — не стесняясь, провозглашает глава правительства. — Ведь нам удалось раздавить на Балканах гидру большевизма.

И вновь льются уверения в честности и добропорядочности правительства:

— Народы любят сильную власть, сильные правительства, если они действуют на законных и честных основаниях. Этой идее мы и служим: сильная власть, честное и законное управление. Неужели у кого-нибудь достанет дерзости усомниться в нашей порядочности? Она общепризнана. Я спокоен, как спокойны все мои коллеги...

Его обвиняют в попустительстве незаконным арестам.

Первый после царя человек в государстве и здесь остается верным своей наступательной тактике.

— У некоторых господ хватает наглости ссылаться на какой-то список исчезнувших и проливать горькие слезы над судьбой их несчастных наследников. Правительство позаботится о том, чтобы помочь семьям несчастных, погибших во время братоубийственной войны...

Но эффект, который когда-то производили речи Цанкова, теперь значительно ослаб. Газета «Эпоха» даже набралась смелости и усомнилась в искренности слов премьер-министра относительно высоких принципов, которыми якобы руководствуется правительство.

«Хорошо, согласимся, что это так, — писала газета на другой день после речи Цанкова. — Следует, зна-

чит, ожидать, что власть и ее псалмопевцы будут последовательны и скажут нам, что уже сделано для наказания виновных и отыскания жертв болгарского политического садизма?»

«Отвечаем,— брошенную «Эпохой» перчатку поднимает газета «Демократически сговор». — Министр юстиции дал указание расследовать все случаи исчезновения. Судебная власть у нас независима. Ей не только никто не мешает, а, наоборот, все призывают ее исполнить свой долг. Сейчас подготавливается законопроект о пропавших без вести, который на днях будет внесен в Народное собрание. Чего можно еще требовать?»

Однако недовольство все теснее окружает со всех сторон профессора-палача. Даже парламентское большинство в Народном собрании начинает колебаться. Тон недоверия задают провинциальные депутаты, которые приезжают на заседания в Софию, встревоженные беспричинным уничтожением такого количества видных людей. В провинциальных городах скрывать преступления гораздо труднее, тем более что местные органы действуют отнюдь не так конспиративно, как в столице. В парламенте все чаще раздаются требования об отставке генерала Русева, министра внутренних дел.

Если верить свидетельским показаниям Стойчо Мошанова, к Цанкову явилась делегация депутатов-сговористов и потребовала прекращения репрессий и удаления генерала Русева с поста министра. Возмущенный этими требованиями, Цанков заявил депутатам, что зверь ранен, но не добит и что начатую акцию необходимо продолжить...

Генерал Вылков тактично отходит на задний план. Вероятно, этот маневр был предусмотрен в закулисных планах царя Бориса. В глазах народа главным виновником трагедии остается Цанков — первый человек в правительстве. Зажав уши и стиснув веки, Цанков делает последние шаги своей премьерской карьеры — сыплет проклятия и угрозы, лицемерно оплакивает несчастные жертвы, просит о сочувствии к своей «несправедливо оскорбленной» особе:

— Мы не только не хотели насилий, но и сделали все, чтобы их прекратить! И прекратили! Неужели

за это нас называют «самым кровавым и злодейским правительством?»»

Нас обвиняют в насилии! Согласитесь, что это уж слишком...

А Европа, которая так «высоко ценит» этого печально известного болгарского политика, настоящая, думающая Европа голосом Анатоля Франса обращается к нему с вопросом:

— Неужели вы еще не сошли с ума, господин профессор?

Увы, безумие — понятие очень относительное. То, которое констатирует в своем диагнозе психиатр, далеко не всегда совпадает с во сто крат более опасным для общества неизлечимым безумием, поразившим Александра Цанкова уже в ту минуту, когда он закрыл за собой дверь своего профессорского кабинета.

За двадцать дней до того, как царь подписал указ о его смещении с поста премьер-министра и назначении на «более спокойную» должность председателя Народного собрания, Цанков посетил Плевен. Он был приглашен местными властями на открытие нового здания городского театра. Я хотел обойти молчанием эту поездку, у нее нет прямой связи с событиями, составляющими тему этой книги. Но в материалах, которые были опубликованы в газетах по этому поводу, я обнаружил много такого, что говорило мне гораздо больше, чем это казалось на первый взгляд. Уже по нескольким фразам и намекам я почувствовал сумрачную, нечистую, лишенную кислорода политическую атмосферу тех дней. Обнаружил я и дополнительные штрихи к образам первых людей тогдашней власти.

Вот информация, опубликованная в газете «Демократически говор». Привожу ее почти целиком, не нарушая присущего ей протокольного стиля:

«В этот замечательный день на банкете в ресторане Стефана Манева, где собрались представители всех жителей Плевена без различия политических убеждений, в присутствии премьер-министра и многих других особ, при небывалом по сердечности и энтузиазму настроении были произнесены следующие примечательные по своему смыслу и значению речи и пожелания:

Цоню Брышлянов (обращаясь к премьер-министру):

— Мне выпала честь от имени плевенских граждан высказать вам благодарность за все, что вы для них сделали. Щажу вашу скромность, но не могу не сказать, что вы взяли на свои плечи все трудности Болгарии...

Мы верим в то, что вы делаете, и нам остается только молить бога о ниспослании вам долгих лет жизни.

Премьер-министр Ал. Цанков:

— Добру служить нелегко, потому что нас, людей, судьба не только одарила добродетелями, которыми мы должны обладать, но и не уберегла от слабостей, от которых мы не можем освободиться. Мне, выходящему из профессорской среды, никогда не думавшему об участии в политической жизни страны, мне и моим товарищам выпала участь взять на свои плечи тяжкий крест Болгарии и донести его до Голгофы. Но не затем, чтобы распять страну, а чтобы ее сохранить.

г. Ат. Буров:

— Благодарю вас за то, что вы дали мне возможность пережить моменты умиления и идейной экзальтации».

В те дни газеты писали о бушевавших по всей стране снежных метелях. И, естественно, не забывали отметить, каких усилий стоило премьер-министру и его свите добраться до Плевена, чтобы исполнить свой долг перед его «патриотическими» гражданами, на все лады расписывая при этом занесенные снегом шоссе, железные дороги и населенные пункты, оставшиеся без всякой связи с крупными городами.

Метель утихла, но мертвая тяжесть снежной лавины придавила города и дороги, дома и людей...

На болгарскую землю пришла глубокая, тяжкая, долгая зима...

Тогда народ всмотрелся в себя и ужаснулся, осознав размеры причиненных ему опустошений.

И понял, насколько он осиротел.

Задушены большие и сильные таланты: Гео Милев и Христо Ясенов, Сергей Румянцев и Иосиф

Хербст, Васил Карагьозов и Иван Минков, Георгий Шейтанов и Иван Шаблин... Смолкли чистые и вдохновенные голоса борцов: Петко Д. Петкова и Тодора Страшимирова, Вылчо Иванова и Яко Доросиева, Жеко Димитрова и Ламби Кандева, Анны Маймунковой и Николая Грамовского, Велы Писковой и Елены Гичевой, Хараламби Стоянова и Николая Петрини, Темелко Ненкова и Петко Енева, Димитра Грынчарова и братьев Мулетаровых, Димо Хаджидимова и Ивана Манева, Кирилла Павлова и Петра Янева, Георгия Зуйбарова и Христо Косовского, Найдена Кирова и Пауна Грозданова, Нено Царвуланова и Васила Иванова... Погублены гордые и яркие люди: Александр Боримечков и Георгий Кротнев, Коста Янков и Марко Фридман, Христо Коджейков и Георгий Цанев...

Он кажется бесконечным, этот трагический список... И каждое имя в нем достойно того, чтобы его возглавить... Атанас Стратиев и Тодор Димитров, Радивой Каранов и Стойко Штерев, Петр Ников и Димитр Захариев, Мара и Зиновий Георгиевы и Динол Динков, Коста Шулев и Димитр Хаджимитрев, Георгий Костов и Григор Кузманов...

Я с ужасом перечисляю эти имена — ведь это всего лишь одна страница из книги мучеников! А сколько в ней еще имен и человеческих судеб! Велко Йовков и Гено Гюмюшев, Георгий Стойнев и Иван Ганчев, Бижо Бакалов и Гиньо Писков, Нина Кротнева и Никола Альюков, Владимир Благоев (сын Димитра Благоева) и Йордан Вишовградский, Исак Самуил-Коев и Спас Вучков, Никола Топалджиков и Гаврил Личев...

А заколотые штыками в Охотничьем парке близ Видина?

И расстрелянные в старозагорском привокзальном сквере?

И сраженные пулями на улицах всех городов Болгарии...

Зарытые вдоль берегов всех болгарских рек...

Погибшие в горах на раскаленных от солнца скалах...

Сброшенные в море в цепях и стальных канатах, с привязанными к телам камнями и кусками рельсов...

А те, кто был приговорен к смерти на «апрельских процессах», прошедших во всех окружных центрах?

Тяжкое молчание опустилось на болгарскую землю. Слово народа задушено пластами земли, замуровано в толстых каменных стенах тюрем. Над теми, кто остался «на свободе», угрожающе свистят тугие петли, готовые захлестнуть каждую высоко поднятую голову. Лед отчаяния сковывает бег мыслей. «Не могу петь, когда горит Рим». В этих словах Асена Златарова заключена вся драма человеческого духа, оцепеневшего и онемевшего перед слепой лавиной мрака.

Все ниже сгибается высокая фигура Антона Страшимирова. Пули милостиво его пощадили, веревочная петля только просвистела над головой... Писатель уцелел — словно бы затем, чтобы увидеть и пережить все.

Перед его взглядом проходит колонна героев-мучеников. Он прощается со всеми и с каждым, а они, уходя, оставляют ему последний подарок — еще одну кровоточащую рану в сердце.

Последним ушел от него Христо Ясенов. Самый близкий из близких. В начале мая он все еще был в Дирекции полиции. Потом его перевели в гимназию имени Фотинова и снова вернули в Дирекцию. Неведомыми путями приходили к Страшимирову вести, посланные из сумрачных камер: «Я жив!» Жена Страшимирова несколько раз передавала Ясенову еду и тоже узнавала кое-что: «Он сейчас на пятом этаже...», «Встретились с ним в коридоре...»

Однажды в Дирекции отказались принять передачу. Страшимирову объяснили:

— Этого лица у нас нет.

Через несколько дней — тот же ответ:

— В наших списках такого нет. Освобожден.

...Его увезли июньской ночью. Выходя из камеры, он тихо, но отчетливо произнес простые, скромные слова: «До свиданья, товарищи!» И ушел. Это хорошо помнит свидетель обвинения Драган Бачев, несколько дней проведенный в одной камере с Ясеновым. На вопрос председателя суда, кто уводил поэта, Бачев ответил: «Черный Павле».

Представляю себе хрупкую фигуру поэта рядом с

большоголовым, толстым и неповоротливым кочегаром-убийцей Черным Павле. Оба идут по длинным каменным коридорам. Один — озаренный, чистый. Другой — с несгибающейся от жира шеей, низким лбом и мутным взглядом, человек, прославившийся как самый жестокий мучитель в Дирекции полиции.

На улице они расстаются. Черный Павле подталкивает поэта к группе людей в низко нахлобученных шляпах, к фургону... Подталкивает и скрывается в темном подъезде.

А поэт, внезапно освещенный лунным светом, жадно глотает прохладный ночной воздух и вступает на путь, круто и стремительно уводящий его в сырой казарменный подвал, в братскую могилу...

И оттуда — к чистейшим высотам народной памяти.

Его объявляют «пропавшим без вести». Рушится последняя надежда. Когда весть об этом доходит до Антона Страшимирова, он запирается в комнате, где столько раз встречал тихого и обаятельного гостя — Христо Ясенова. Наступают и уходят послеобеденные, предназначенные для прогулки часы, закат золотит створку открытого окна, веет вечерней прохладой... Писатель все так же сидит за своим столом, подперев рукой голову, погруженный в бушующую реку воспоминаний.

Перед ним его дневник, раскрытый на давней странице.

8 января 1909 года... перед ним стоит молоденький крестьянский парнишка, почти мальчик, в пиджаке из домотканого сукна с загнутыми вперед отворотами, — вероятно, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Стоит, не решаясь присесть на предложенный стул. Потом, набравшись смелости, рассказывает, что он студент Училища рисования, но пишет стихи и если у господина Страшимирова найдется немного времени...

«Я с полным пренебрежением простился с юношей, а оставленные им несколько страниц сунул в папку».

Через несколько дней, роясь в редакционных бумагах, писатель обнаружил листки с написанными от руки стихами. Без подписи.

Но какие стихи!

Не ждут меня родные у милого порога,
не для меня цветут сады и зеленеет лес.
Скитаться обречен я без отдыха и срока,
скитаться и страдать под кровом всех небес.

«Я прочел и не поверил своим глазам. Эти случайно найденные стихи оказались для меня полной неожиданностью. Удивление вызывала совершенная, почти певческая музыкальность стиха. Еще удивительнее было то, что эти стихи написал тот самый этропольский парнишка в домотканом пиджачке...»

Стихи были опубликованы в страшимировском журнале «Наш живот». И с этого дня третий сын купца Туджарова, самовольно бросивший Свиштовское торговое училище и лишенный за это отцовской поддержки, этот вечно голодный девятнадцатилетний студент Училища рисования превратился в Христо Ясенова, в надежду всей болгарской поэзии.

Ясенов... Светлое и нежное — как сама душа поэта — имя. Придумавший его Страшимиров безошибочно угадал внутреннюю красоту своего духовного сына.

А затем... Три года на фронтах войны, возвращение поэта-офицера... Грудь его украшена крестами, полученными за храбрость, рука прострелена. Первые приступы туберкулеза... Первые лучи алого сияния, встающего над русской землей...

Страшимиров закрывает дневник. Нет, это еще не все. Где-то у него хранится и то ясеновское письмо «Во все адреса», которое в свое время так разгневало убийц. И писатель ищет в шкафах сохранившиеся номера газет «АБВ» и «Развигор».

Вот сообщение о первой высылке поэта в Горна Джумаю в 1924 году: «20 марта в 7 часов утра органами общественной безопасности арестован поэт Христо Ясенов. На следующий день его выслали неизвестно куда и за что. Ясенов не политический деятель. Министерство внутренних дел должно дать объяснения по поводу такого обращения с одним из лучших наших поэтов. Культурная Болгария непременно должна знать, делается ли это по «высшим государственным соображениям» (и каким) или это всего-навсего произвол неких «безответственных элементов». Долг союза писателей предпринять решительные шаги для освобождения арестованного поэта,

доказать, что мы протестуем и что, по крайней мере, этим отличаемся от России Николая Первого».

В следующем номере «Развигора» опубликован протест группы болгарских писателей: «До сих пор никто из ответственных представителей власти не объяснил причины посягательства на личную свободу поэта, далекого от политической деятельности. Может быть, его преступление состоит в том, что он является членом Комитета помощи жертвам сентябрьских событий? Неужели мы уже дошли до того, что гуманность и человечность стали у нас чем-то недозволенным!

У Христо Ясенова слабое здоровье и нет никаких материальных средств. Мы — группа писателей и друзей Ясенова — протестуем против ареста одного из наших лучших поэтов и настоятельно требуем его освобождения и возвращения в Софию!

Подписали: Теодор Траянов, Антон Страшимиров, Николай Хрелков, Гео Милев, Иван Грозев, И. М. Даниэл, Д. Б. Митов, Георгий Бакалов, Людмил Стоянов, Боян Дановский, Ст. Б. Митов, Георгий Цанев, Г. Стефанов, Александр Жендов, Асен Разцветников, Георгий Константинов, Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев, Крум Пенев, Никола Балабанов, Тодор Боров».

Власти вынуждены отступить. Христо Ясенов освобожден и возвращается в Софию. Страшимиров помнит, как поэт, по-обычному скромный и застенчивый, появился на пороге его дома. Тот же ласковый, мягкий взгляд. Тот же — и все-таки другой! От пронизательного Страшимирова не могут укрыться смелые огоньки, вспыхивающие в глазах поэта, в самой их глубине...

Те самые непримиримые огоньки, от которых зажглось пламя его открытого письма, переданного для публикации в печати. «Во все адреса» — так озаглавил его Ясенов:

«Выйдя на свободу, я благодарю всех своих друзей, знакомых и сочувствующих, а также редакции всех газет, выразивших возмущение и протест против моей беспричинной и незаконной высылки, явившейся следствием партийного фанатизма и беззастенчивого политического террора. Выражаю также признательность гражданам Горна Джумай, оказав-

шим мне неоценимую помощь и сочувствие; о них, об их человечности и искренней дружбе я навсегда сохраню светлое воспоминание. Но для тех, кто думает, что им не придется ответить за произвол, для безответственных, я никогда не стану «хорошим гражданином» и никому не советую совершить эту подлость. Христо Ясенов».

Письмо действительно попало во все адреса. В том числе и в адрес тех «безответственных личностей», которым на этот раз пришлось проглотить публичное оскорбление. Но их мстительная злоба уже скопилась и требовала выхода. С трудом дождались они той глубокой апрельской ночи, когда смогли предать поэта мраку, холодной темнице земли...

Люди с нечистой совестью не забывают оглушительных пощечин правды.

Путь поэта и коммуниста пройден до конца. Такова строгая логика борьбы. Таков закон человеческого достоинства, преодолевающий даже страх смерти, заложенный в нас природой.

Логично — и невыносимо для разума. Ушел человек! Человек, сотканный из чувствительнейшей ткани, светильник, пылающий поэтическим огнем...

Все умственные построения рушатся от этой нелогичной, невозможной правды.

И Страшимиров лихорадочно хватается за перо, чтобы выплеснуть на белое пространство бумаги все, что накопилось в его потрясенной, рыдающей душе:

«Угасла еще одна яркая большая звезда нашего небосклона. Плачьте, если еще не высох источник ваших слез. Никто не может его заменить!»

А за окном уже глубокая ночь. Писатель подходит к открытому окну, и полуночная тишина заполняет его мысли, приводит в порядок их хаотичное движение. И взгляд его вычерчивает на черном небе слова, будто вырванные из недр обезумевшей земли:

«Нас, болгар, горстка — довольно жертв!»

А вереницы мучеников все прибывают, заполняют горизонт, вздымаются до звездных высот...

И прежде чем слова хлынут на белую страницу, чтобы оттуда полететь к людям, раскаленная мысль писателя высекает их на онемевшем небе планеты:

«Эта кровавая колонна сверкающих имен ужаснет многие поколения!»

НЕДРЕМЛЮЩАЯ СОВЕСТЬ

Когда палачи затягивали петли на шеях своих жертв, у них был могущественный союзник — слепая ночь. Когда плотно, одно к одному, забивали ямы телами убитых, они доверялись другому своему союзнику — бессловесной земле. Днем они обедали в кругу семьи, а затем погружались в глубокий безмятежный сон, и дети на цыпочках ходили вокруг них... Один в свободное время бегал по аптекам в поисках лекарства для больной жены. Другого замучили появившиеся на шее нарывы — когда затягиваешь петлю, боль становится нестерпимой. Третий на досуге мастерил «адские машины» и, полный отцовской заботливости, предупреждал жену: «Один такой крохотный механизм, спрятанный в букете цветов, может убить человека. Береги детей, если что случится — застрелю!» Ночью, собираясь в казарменных подвалах, они жаловались друг другу на боли в суставах, в пояснице... «Ликвидируешь человек пять-шесть, тогда только и полегчает...»

Они полностью доверяли своим сообщникам — земле и мраку. Но больше всего рассчитывали на третьего, будущего союзника — время и на забвение, которым порастают его следы.

Сейчас мы знаем, как ненадежна была эта их уверенность. Я имею в виду не только возмездие, пришедшее на процессе 1954 года, и, по правде говоря, с большим опозданием — к этому времени подсудимые прожили, в общем-то никем не потревоженные, большую часть своей жизни.

Я имею в виду те невидимые излучения, которые в дни народных потрясений как бы электризуют воздух планеты. Задыхающиеся в петле голоса разносятся повсюду, словно сигналы бедствия, вызывая к недремлющей совести человечества. И тогда, в 1925

году, над планетой протянулись нити великого братства, воспламенившего мрак и ослепительным огнем осветившего темные дела палачей.

«Среди этой ужасной неразберихи и отчаянья раздался голос Антона Страшимирова, одинокий в окружающем его молчании равнодушных, и произнес слова боли и человечности». Это — слово Асена Златарова, выразившего восхищение нравственным подвигом писателя, свою глубокую к нему благодарность.

Но за истинностью этих слов кроется еще одна правда: Антон Страшимиров был не один. Рядом с ним встали другие — достойные сыны человечества, братья поверженных болгарских борцов по борьбе и по духу.

16 мая 1925 года Советскую страну покрыли траурные знамена. Этот день стал днем памяти жертв террора в Болгарии. Делегации московских рабочих посещали посольства западных государств, чтобы вручить дипломатам письма протеста против поддержки режима Цанкова.

Газета «Правда» в этот день вышла с передовицей «Софийские виселицы говорят...». В том же номере под статьей, посвященной героям болгарской революции, я увидел имя Михаила Кольцова, блестящего писателя и публициста, неутомимого и вездесущего, который неизменно оказывался повсюду, где шли битвы, где были мужество и страдания. «Москва — София» — так была озаглавлена статья Кольцова в «Правде».

Два года спустя Кольцов окажется в Будапеште — вотчине фашиста Хорти, затем проникнет в зонненбургскую тюрьму и побеседует с закованными в цепи антифашистами. Пробрется в тщательно законспирированный штаб русских белогвардейцев и возьмет интервью у самого их главаря генерала Шатилова; заставив суетного генерала позировать перед его фотоаппаратом, он через несколько дней представит и снимок и интервью в редакцию газеты «Правда». А еще через некоторое время этот неутомимый странствующий рыцарь пера окажется в борющейся Испании...

Мне кажется, что в 1925 году Михаил Кольцов всем сердцем стремился попасть в Болгарию! И я

убежден, что лишь какие-то, не зависящие от него обстоятельства помешали ему это сделать.

В тот же самый день — 16 мая — по улицам Москвы прошли колонны траурной процессии в память жертв политического террора в Болгарии. Московские рабочие собрались на грандиозный митинг протеста. Прошли митинги и в Ленинграде, и во всех крупных городах Советской страны.

В эти дни в Москве заседал Первый Всесоюзный съезд МОПРа (Международной организации помощи революционерам). После речи Васи́ла Кола́рова, посвященной драматической борьбе болгарского народа против террора и действий цанковского правительства, делегаты поднялись и запели «Интернационал». Потом перед бушующим залом встал Анатолий Луначарский, народный комиссар просвещения, представитель всей советской культуры и искусства.

— Слово «Болгария» мы теперь повторяем с глубоко болезненным чувством... Истребляются все передовые элементы рабочего класса и крестьянства до самых основ. Мы видим страдания жертв, слышим их стоны. Но... как в повести Гоголя, мы можем только сказать: «Видим... Слышим...»

И тут член Советского правительства умолк. Но слушатели прекрасно поняли все недосказанное в его речи. Несколько мгновений тишины — и гневный зал снова взрывается великой песней интернационального братства.

Да, советские люди не в состоянии протянуть руку помощи своим болгарским братьям. Единственное, чем они могут их поддержать, это передать им всю боль, сочувствие и восхищение своих сердец.

В эти дни Михаил Светлов написал свое стихотворение «Болгария». По правде говоря, в данном случае «написал» — слишком кабинетное слово: двадцатидвухлетний поэт жил тогда вместе с Михаилом Голодным и Иваном Ясным в тесной комнатке общежития молодых пролетарских писателей на Покровке, 3. Стихи он сочинял на улицах Москвы, главным образом ночью, когда наступает благословенная для поэтов тишина.

Несколько ночей Светлов бродит по Тверскому бульвару, бормоча строфы зарождающегося стихотворения:

Слышу, ломая устои,
Новые бьют ключи,
Сердце мое простое,
Вслушайся и молчи.

В эти дни все газеты кипят гневом советских людей против палачей Болгарии. Сквозь блокаду фашистского мрака проникают лучи трагической правды о судьбе болгарских борцов. Единственный, кто мог хоть что-то сказать, Марко Фридман спокойно и мужественно защищает на суде правоту своих идей. Его слова проникают и в советскую печать. Фридман становится представителем тысяч смелых болгарских борцов, у которых отнята и свобода, и возможность говорить, но которые кровью своей пишат все те же слова...

Весть о казни Фридмана и его товарищей волной боли прокатилась по Советской стране. Образ болгарского революционера внес в строфы Светлова горе и драматизм. К концу мая поэт уже передал свое стихотворение в редакцию «Правды», и через некоторое время оно было опубликовано.

Фридман!

Ты не был последним,
Много еще других.
Церковь служила обедню,
Площадь казнила троих.
Болгария!

Жди подарков
За каторжный труд палача.
Голос товарища Марко
Не перестанет звучать.
Пусть за тобою не видно
Новых больших дорог,—
Мертвый товарищ Фридман
Сердцем огни зажег.
Смертью его не испуганы,
Ружья начнут разговаривать.
Спи, товарищ обугленный,
В этом последнем зареве.

Создавая эти строфы, Светлов находился под сильным влиянием Маяковского. И это роднит его с болгарским поклонником Маяковского — Гео Милевым. В одну из тех ночей, когда Светлов бродил по московским улицам, вырывая из мрака строфы своего стихотворения, болгарский поэт встал перед

хмурыми палачами в подземельях софийских артиллерийских казарм...

И превратился в пепел, искры которого разгорелись в алой заре будущего...

Много лет спустя я увидел Михаила Светлова. Это было на одном из московских праздников поэзии. В книжном магазине на Кутузовском проспекте он беседовал с шумной группой молодых поэтов. Я стоял в стороне, прислушиваясь к обрывкам долевших до меня фраз, но зато хорошо видел все его лицо, «по-старчески живописное», как выразился он сам в одном из своих стихотворений. Особенно выразительны были его глаза: их прищур, движение ресниц, мгновенная сосредоточенность говорили так много, что я без особого труда угадывал его отношение к каждому вопросу. Под конец, поддержанный молодежью, Светлов взобрался на стул, и его тонкая, сутуловатая фигура качнулась с какой-то трогательной беспомощностью. Он стал читать свое последнее стихотворение, и в книжном магазине слышалось только легкое поскрипывание стула.

Мне не удалось тогда подойти к Светлову. Прорвать блокаду молодых поэтов было выше моих сил. И мой вопрос о стихотворении, написанном им в тревожные майские ночи 1925 года, так и не получил ответа. Осталась лишь надежда на новую, более удачную встречу. Это была моя первая и, к сожалению, последняя встреча с живым Светловым.

«Международный пролетариат поможет болгарским друзьям». Эрнст Тельман опубликовал эту статью в московской газете «Известия». Вскоре он стал председателем Центрального Комитета Коммунистической партии Германии. Гневная публицистика вождя немецкой революции вызывает у меня неизбежные исторические параллели. В памятном для болгарского народа 1923 году Тельман руководил восстанием гамбургских рабочих. В 1925 году он организовал движение немецкого пролетариата в защиту болгарских революционеров. Восемь лет спустя фашисты отняли у него депутатский мандат и бросили в тюрьму. И на знаменах международной антифашистской солидарности его имя встало рядом с именем

болгарина Димитрова. Когда же Димитров с триумфом вырвался из гитлеровской тюрьмы и, ступив на московскую землю, глотнул опьяняющий воздух свободы, первыми его словами были:

— А теперь — спасем Тельмана!

«Поможем болгарским братьям!» — пишет Тельман в 1925 году. И продолжает: «Революция выдохлась», — торжествует буржуазия. «Революция выдохлась» — именно поэтому выносятся смертные приговоры... именно поэтому в Болгарии казнят тысячи людей...

Ответ на это, ответ заводов, профсоюзов, рабочих — это тот ответ, который мы выдвигаем в своей пропаганде.

«Революция жива!»

«Она жива в красном боевом флаге всех эксплуатируемых и угнетенных».

17 мая берлинские рабочие собрались на митинге в поддержку болгарских антифашистов. Говорит писатель Э. Гумбель, который уже собирает материалы для книги, разоблачающей террористическую власть Цанкова. Она вышла через несколько месяцев под заглавием «Белая смерть в Болгарии».

Митинги протеста и демонстрации прокатываются по всем крупнейшим городам Германии: Дюссельдорф, Кёльн, Дрезден... Вот строки из резолюций протеста немецких рабочих: «Спешим оказать помощь своим болгарским товарищам по классу...», «Мы солидарны с болгарскими товарищами», «Выражаем глубокое презрение к классовому правосудию болгарского правительства...»

Немецкая Лига защиты прав человека издала брошюру «Кровавый поток в Болгарии». Вышла также иллюстрированная брошюра «Террор в картинах» с помещенными в ней фотографиями убитых и замученных.

Сообщение о вышедшей в Германии брошюре «Кровавый поток в Болгарии» проникло на страницы одной из софийских газет — «Независимость». Орган Цанкова «Демократически сговор» поспешил пресечь разлагающее действие подобного рода изданий. «В брошюре говорится о «героях революции», — предупреждает газета. — И вообще, наша политическая борьба рассматривается в одном свете, как помогаю-

щая чему угодно, кроме болгарской демократии...» В конце следуют обычные жалобы: «Да, мы не можем защищать себя за границей...»

Румынская коммунистическая партия, которая в это время также вела тяжелую борьбу против реакционного правительства, распространила специальную листовку в поддержку болгарских революционеров. Случилось это в те самые дни, когда между двумя антинародными правительствами — болгарским и румынским — было достигнуто соглашение о выдаче друг другу эмигрировавших революционеров.

«В апреле, — говорилось в листовке, — в Болгарии были арестованы тысячи коммунистов и сторонников Единого фронта. Начались новые массовые убийства.

Рабочие, крестьяне и интеллигенты! Возвысьте голос протеста против болгарской олигархии. Требуйте освобождения болгарских рабочих и крестьян, нашедших убежище в нашей стране. Уделите от своего куска хлеба им и их семьям, страдающим от ударов варварского фашистского правительства. Скажите тем вашим сыновьям, которые служат в армии, чтобы они не поднимали оружия против своих болгарских братьев!»

Протест передовых румынских кругов свел на нет позорное соглашение двух правительств. Боясь полного разоблачения в глазах народа, румынские власти не посмели выдать эмигрировавших из Болгарии революционеров.

В Праге перед зданием болгарского посольства состоялась внушительная демонстрация протеста, по улицам прошли многолюдные шествия пражских рабочих. После этого делегация чехословацких общественных деятелей решила посетить Болгарию. В нее вошли Карел Крейбих, доктор Иван Саканина, Луиза Ландова. В августе делегация прибыла в Болгарию, где собрала новые факты о трагической борьбе болгарского народа. Посетила Софию также делегация чехословацких журналистов-коммунистов, которым удалось проникнуть даже в Центральную тюрьму. Они беседовали с заключенными болгарскими антифашистами, встретились и с Христо Кабакчиевым, отсиживавшим свой очередной срок. Однако, узнав о всех этих «вольностях» чехословацких журналистов, болгарские фашистские власти немедленно изгнали их из страны.

Прибыла в Болгарию также делегация английских лейбористов — членов парламента. Это — депутаты Веджвуд, полковник Меллон и Мак-Киндер. Возвратившись в Англию, они представили парламенту доклад о терроре в Болгарии. Полковник Меллон опубликовал в «Манчестер гардиан» письмо под драматическим заголовком: «Не могу молчать!»

Выступая в парламенте, Меллон выразил несогласие с позицией английского правительства, которое фактически оправдывало и поощряло действия Цанкова. В ответ на заявление премьер-министра, что «болгарские события подлежат компетенции правительства Болгарии», Меллон взял слово и, опираясь на многочисленные факты, собранные во время его поездки в Болгарию, раскрыл истинное лицо Цанкова и его политики.

Газета «Демократически сговор» и на этот раз поспешила вмешаться в спор, как всегда вооруженная единственным бывшим в ее распоряжении аргументом — клеветой. «Эти господа,— писала газета, имея в виду Веджвуда, Меллона и Мак-Киндера,— не кто иные, как засланные в Болгарию большевистские эмиссары».

Прибыл в Болгарию и французский юрист и общественный деятель Марсель Вилар. Это было в июне 1925 года. А уже осенью вышла его книга «Что я видел в Болгарии».

«Всего за восемь дней моего пребывания в стране,— писал М. Вилар,— болгарские суды вынесли срок восемь смертных приговоров. Суды работают на всех парах — им уже мало коммунистов... Карательная машина «легально» расправляется с каждым, кого ей удастся схватить. Причем она уничтожает не только коммунистов, но и умеренных. Потому что такова логика этого классового аппарата...»

И дальше:

«Сейчас не время для протестов и возмущений. Необходимо отсечь эти руки! Наш долг — потребовать отмены отвратительного закона «о защите государства», который легализует убийцу под маской судьи. Потребовать роспуска фашистских и военных организаций, восстановления прав рабочих.

Мы верим, что смелый болгарский пролетариат одним ударом сметет своих «демократических» ти-

ранов, свой кошмарный режим и свою жаждущую крови буржуазию!»

Очень характерен также случай с бывшим премьер-министром Бельгии Вандервельде, который посетил Болгарию в 1924 году. Даже он, умевший, по словам Василя Коларова, «опутывать дипломатическим туманом самые ясные вещи, когда ему нужно было избежать какой-либо личной ответственности», в самом начале апрельских погромов осудил режим Цанкова. В статье, помещенной в газете «Ле кестин» 15 мая 1925 года, Вандервельде категорически заявил: «Во время своего пребывания в Болгарии я имел возможность сделать некоторые личные наблюдения, которые, откровенно говоря, не позволяют мне усомниться в том, что правительство Цанкова выродилось в диктатуру политической и экономической реакции».

Американский журналист К. Маус также посетил Болгарию и затем написал книгу «Что происходит в Болгарии». С возмущением говорил он о позиции некоторых крупных газет Лондона, Парижа и Вены, которые «скандальным образом» поддерживали политику генерала Вылкова. «Европейскую печать информируют лишенные совести корреспонденты. Это неслыханно! — восклицал К. Маус. — Их сообщения по бесстыдству, цинизму и лживости превосходят даже официальные сообщения болгарского правительства».

Во время одной из своих поездок в Париж генерал Русев встретился с французскими журналистами. Министр внутренних дел хвастливо заявил им, что в Болгарии царит полный порядок и что даже тюрьмы в ней образцовые. Редактор «Юманите» Даниель Рену спросил болгарского министра, можно ли ему лично убедиться в этом. Русев эффектно ответил: «Разумеется!»

И Даниель Рену поехал в Болгарию.

«Гости, множество гостей прибывает в «варварскую и кровавую» Болгарию!» — почти стонет газета «Демократически сговор».

Но кто виноват, если фашистское правительство само раструбило на весь мир о своем демократизме и гуманности! А объявив однажды, как можно отказать в гостеприимстве всем, кто желает лично в

этом убедиться? И правительство, стиснув зубы, принимает поток гостей, все больше и больше запутываясь в собственных сетях. Потому что зарубежные делегации, журналисты, юристы, большинство которых очень далеки от идей коммунизма, как правило, уезжают из Болгарии с убеждением, что в этой трагической схватке право целиком на стороне противников власти.

Пребывание в стране Даниеля Рену принесло болгарским фашистам немало огорчений. Сразу же по своем возвращении во Францию Рену поместил в «Юманите» серию статей о положении в Болгарии.

Газета «Демократически сговор» уже не в силах отвечать на вызов. Ее скудные реплики напоминают скорее недовольное ворчание. «Французская коммунистическая газета «Юманите» продолжает свою банальную болтовню, претендующую на солидность анкеты».

И тут Цанков впервые выступил перед мировой общественностью с публичным признанием наличия «безвинных жертв». Венская газета «Нойе фрайе прессе» 15 октября опубликовала его заявление:

«За границей очень много писали о лицах, исчезнувших после большого взрыва. К сожалению, это факт, что в ночь с 16 на 17 апреля исчезло несколько человек, которых так и не удалось найти... Во время гражданской войны всегда бывают безвинные жертвы. К сожалению, ожесточение людей и нравов, явившееся следствием войны, стало причиной этих нападений... даже убийств».

На вопрос об участии военных в этих событиях болгарский премьер, вполне в своем стиле, ответил ложью:

«Я вас не понимаю. У нас вообще нет военной лиги. Есть только общество офицеров запаса, являющееся чисто профессиональной организацией».

Несколько более словоохотлив Цанков в интервью, данном бельгийскому адвокату Плисниэ. Вот как Плисниэ резюмировал свой разговор с первым человеком в болгарском правительстве и его сотрудниками:

«Я лично видел Цанкова и других, стоящих у власти людей. Беседа была очень искренней, и они мне сказали: «Разумеется, были случаи излишней жесто-

кости, но, закалывая штыками коммунистов, наши солдаты избавили вас от большой опасности. Восстанавливая порядок, мы обеспечили возможность европейским капиталистам гарантированного помещения капиталов в нашей стране».

И бельгийский юрист приходит к логичному выводу:

«Вот почему дипломаты — защитники империализма и капитализма рукоплещут энергичным действиям болгарских диктаторов».

«Летом 1925 года Барбюса в Омоне часто навещали эмигранты... из Юго-Восточной Европы, которые просили писателя привлечь внимание французов к положению в странах Балканского полуострова. И Барбюс занялся углубленным изучением балканских проблем».

Эти короткие строчки из книги Аннет Видаль, секретаря и помощницы Барбюса в его литературной работе, свидетельствуют о зарождении одного из самых смелых начинаний писателя-борца, имя которого уже было известно во всех концах планеты.

По его инициативе во Франции была создана комиссия по расследованию поступающих из Балканских стран сведений о политическом терроре, которая решила на месте проверить все сообщенные ей факты.

11 ноября Анри Барбюс сел в венский поезд, чтобы оттуда направиться на Балканы. Его сопровождали профессор Леон Верноше, генеральный секретарь Интернационала работников просвещения, и бельгийская юристка Поль Лами.

В зале ожидания парижского вокзала Барбюс заявил журналистам:

— Мы не скрываем цели нашей поездки. Это — расследование, и, может быть, весьма неприятное для балканских правительств...

И он рассказал о собранных им сведениях, которые решил проверить на месте.

— За короткое время я стал специалистом по балканским вопросам.

Эта поездка, как впоследствии отметит Луначарский, действительно была в высшей степени не-

приятна балканским правительствам, а особенно болгарскому. Но разве можно остановить Барбюса? В этом-то и состояла его сила. Луначарский вспоминает свой разговор с Лениным о Барбюсе. «Да, это великий голос», — проговорил Ленин, как-то особенно задумчиво смотря перед собой...

К тому времени, когда Анри Барбюс отправился в Болгарию, он уже издал свою знаменитую книгу «Огонь», получившую самое высокое литературное отличие Франции — Гонкуровскую премию. Книга Барбюса стала откровением для всех народов, прошедших сквозь опустошительный ураган войны. Уже само ее возникновение было необычным: Барбюс задумал и написал ее на фронте, куда он отправился добровольно в качестве простого солдата. Ему было тогда свыше сорока лет, здоровье его было расстроено, и писатель имел полную возможность остаться у себя в кабинете. К тому времени он уже пользовался определенной литературной известностью. Анатоль Франс чрезвычайно высоко оценил его первый роман «Ад»: «Вот наконец книга поистине человеческая».

Но Барбюс потребовал, чтобы его послали на передовую. Письма, которые он писал с фронта своей жене, легли в основу его книги. Так, в окопах, был создан этот роман, который писатель частями посылал для публикации в парижские газеты.

Когда в 1917 году он уходил из армии, медицинская комиссия отметила в своих документах: «Инвалидность — 75%».

Если воспользоваться языком истории литературы, то можно сказать, что Анри Барбюс с позиций гуманного реализма перешел на революционные позиции активного воюющего реализма. С полным убеждением заявил он:

«В социализме я вижу, говоря математически, единственную возможность предотвращения войн в будущем».

Новые убеждения Барбюса легли в основу деятельности группы «Кларте», что в переводе означает «свет» или «ясность». Эта группа сделала своей целью объединение деятелей искусства, культуры и науки всего мира против гнета капитализма и за социальную революцию. С ее деятельностью связаны име-

на Анатоля Франса, Генри Уэллса, Георга Брандеса, Стефана Цвейга. Группы «Кларте» появились почти во всех европейских странах. В 1920 году в Болгарии тоже была организована такая группа (под названием «Светлина»), в которую вошли Николай Лилиев, Людмил Стоянов и другие.

Ясность — это слово означает не только платформу и позицию, оно звучит скорее обращением к будущему, призывом как можно скорее найти выход из хаоса и бессилия послевоенных годов.

В 1923 году Анри Барбюс вступил в ряды Французской коммунистической партии.

Пренебрегая страданиями, которые причиняло ему хроническое воспаление легких, он, несмотря на приближавшуюся зиму, отправился в долгий путь. Наверное, им двигали те же самые непреодолимые побуждения долга и человеческой солидарности, которые в годы военной грозы заставили его встать рядом с простыми солдатами, гибнущими на передовой.

«Никогда и ни при каких обстоятельствах я не отказывался от своих политических убеждений. Я — революционер и интернационалист. Наблюдение и соприкосновение с историческими событиями первой четверти XX века все более укрепляли во мне мои убеждения. Но не в том дело... Я добровольно отказался от выявления своих революционных убеждений на все время своего путешествия по юго-востоку Европы. Там я был не членом партии, а обыкновенным наблюдателем, который намерен объективно изучить на месте конкретные факты, чтобы после путешествия по востоку Европы рассказать о своих наблюдениях и выводах.

И все же, быть может, в том, что такой почин смог возникнуть и осуществиться до конца, заключается своего рода знамение времени».

После недолгой остановки в Вене группа Анри Барбюса направилась в Румынию, где террор антинародного правительства также принял жестокие, отвратительные формы. Прорвавшись сквозь кольцо явных и тайных агентов, писатель узнал правду о преследованиях коммунистов и прогрессивных деятелей Румынии.

Анри Барбюс ступил на болгарскую землю в первые дни декабря.

На улицах Софии холодно и безлюдно. Писателю, по его собственным словам, кажется, что он движется вдоль окопов линии фронта. Двери министерств и центральных ведомств раскрываются перед ним крайне неохотно. Документы, которые ему предлагают, чтобы ознакомиться с положением в стране, или малосущественны, или фальсифицированы. Когда он посещает дома «пропавших без вести», за ним на почтительном расстоянии движутся фигуры полицейских агентов, разъяренных своим бессилием помешать этому высокому человеку с тонким одухотворенным лицом совершить то, ради чего он проехал столько километров.

Очень уж велико уважение, которым окружено имя всемирно известного писателя.

Его принимает главный секретарь министерства иностранных дел Кисимов. О характере этой встречи можно судить по словам самого Барбюса:

«Господин Кисимов, полномочный министр и главный секретарь министерства иностранных дел, принял меня вместо отсутствующего министра. Объяснения г. Кисимова оказались более чем туманны. Единственным его аргументом было: «Некоторые люди, жившие до известного времени в бедности, неожиданно стали тратить много денег. Таким образом власти поняли, что эти люди подкуплены Москвой». Я утверждаю, что главный секретарь министерства иностранных дел не сказал мне ничего другого о вине коммунистической партии».

Едва ли те, кому было поручено следить за деятельностью Анри Барбюса в Болгарии, подозревали, что этот больной, задыхающийся от приступов кашля француз за время своего краткого пребывания в стране сумеет собрать так много ярких, изобличающих фактов. Смелые и готовые на риск болгары, действовавшие по всем правилам конспирации, снабжали Барбюса необходимыми данными, списками, рассказами очевидцев...

В руки Барбюса попала даже копия того самого секретного приказа генерала Вылкова, который обрек на гибель столько людей. Она-то и дала ключ к разгадке разыгравшейся трагедии. Поистине достойны восхищения люди, помогшие Барбюсу столь глубоко проникнуть в суть борьбы болгарских ре-

волюционеров. Сам писатель предусмотрительно не называет никаких источников — ведь это означало бы бросить в руки карателей новые жертвы.

И напрасно власти гадали, что же, в сущности, увезет с собой французский писатель? Когда Барбюс уезжал из Софии, те, кому было поручено за ним следить, наверное, вздохнули с облегчением. Они видели, как он помахал рукой из окна вагона. Кому? Пустынному перрону? Нет. Великий писатель прощался с теми, с кем он не мог встретиться, но кто неизменно был в его мыслях и его сердце, — со своими закованными братьями по духу и мужеству.

Полицейские агенты осмотрели хвостовые вагоны и понесли своим начальникам радостную весть: «Уехал!» А Барбюс раскрыл блокнот, чтобы записать слова, прозвучавшие всего несколько минут назад, — последние слова, услышанные на болгарской земле:

«Они не могут уничтожить нас всех, до последнего человека. Следовательно, они обречены. В любом случае останется несколько человек, которые поднимут других!»

Как он выглядел, этот человек, который вдруг появился в его купе и торопливо, на правильном французском языке прошептал ему эти слова? Барбюс запомнил только его глаза — горящие внутренней силой, решительные, прекрасные... Быть может, студент? Все равно это один из тех, оставшихся в живых, которые несли в себе будущее своего народа.

Барбюс добавляет к словам неизвестного болгарина: «Так мне сказал один эмигрант...» Пусть теперь террористы Цанкова и Вылкова ломают голову, стараясь угадать, кто этот человек, исполненный такой ненависти к их обреченной власти. И такой веры...

И Барбюс торопится записать свои мысли, выводы, порожденные этой неожиданной встречей.

«Вера этих оставшихся в живых выкована страданием, она сильнее ударов.

Их надежда страшна!»

Таковы последние слова, записанные Барбюсом на болгарской земле.

Все остальное он напишет у себя, в родной Франции, где вскоре появится книга с категорическим, как приговор, заглавием — «Палачи».

И снова парижский вокзал, взволнованные лица встречающих, родные, друзья, журналисты. Объятия, протянутые руки... но улыбка писателя остается задумчивой. На мгновение воцаряется напряженная тишина,— наверное, Барбюс что-нибудь скажет. Да, он хочет поделиться, но не впечатлениями от дальней поездки — это он сделает в своей книге,— а лишь одной-единственной мыслью, отложившейся в его сознании после всего виденного и пережитого.

— Если бы я не был революционером, то, соприкоснувшись с трагическим хаосом на юге Европы, наверняка стал бы им.

Лицо его темнеет:

— Мне хочется громко кричать!

Люди вокруг потрясены — это слова, вырвавшиеся из самого сердца.

Слышен голос:

— Значит, все это правда?

Писатель глухо отвечает:

— Правда еще страшнее.

31 декабря, в последний день 1925 года, Анри Барбюс обращается к болгарскому народу:

«Я был среди вас, пожимал руки рабочих, крестьян, мужчин, женщин, юношей.

Картина вашей Голгофы стоит у меня перед глазами. Удары ваших сердец укрепляют мою волю.

Ваша страна — это вы. Пролетариат — неотделимая часть своей страны так же, как каждая страна — неотделимая часть матери-Земли.

Мы предчувствуем будущее. Но пока мы его ждем, льется ваша кровь, и мы с трепетом каждый день узнаем о дани, которую вы платите священной классовой борьбе. И боль, которую мы испытываем, все еще, увы, только крик возмущения.

Но ваши усилия не напрасны, даже если вы отступили, даже если оказались бессильными на какое-то время.

Для нас это великий пример. Ваше непреклонное упорство мучеников, готовых пожертвовать собой, укрепляет нашу веру и вдохновляет наши действия.

Оно ускоряет историческую развязку».

Кажется, сказано все. Нет! Все скопившееся за эти дни до сих пор нестерпимой болью отдается в

мыслях, в сердце, и писатель ищет новые слова, высокие и единственные, слова, говорящие о великом примере борющихся болгар:

«Я приехал к вам увидеть могилы и узнать количество погибших, а приобрел высокое сознание нашего жизненного долга. Я почувствовал, как при столкновении с такими уроками народ получает еще более ясное представление о своей силе».

Опубликованные парижской прессой слова Барбюса по нелегальным каналам достигают Болгарии. Правительственные газеты, которые, в общем, держались достаточно пристойно во время его пребывания в стране, тут же резко меняют тон. В действие вводится известный арсенал «аргументов» фашистской прессы: «Большевистский агент...», «Крайний французский коммунист...», «Коварный еврей...» (хотя в жилах Барбюса не было ни капли еврейской крови). Газета «Демократически сговор» публикует также несколько «писем из Парижа», подписанных инициалами «Д. Ал.». Позиция великого писателя объясняется «модной слабостью всех французов к риторическим упражнениям на тему демократии» (?). По мнению этого загадочного «Д. Ал.», выходит, что Барбюс, оторвавшись от своих кабинетных занятий и не обращая внимания на приступы тяжелой болезни, зимой 1925 года прибыл в «самую болезненную точку Европы» из одной лишь любви к «риторике». В сущности, стоит ли так уж обрушиваться на автора этих «писем из Парижа». Он и без того взял на себя непосильную задачу — любым способом бросить тень на огромный авторитет Барбюса. Для чего и пришлось ему измышлять нечто подобное вышеприведенному «объяснению».

В своем неловком стремлении хоть немного принизить недостижимые слова Барбюса «Д. Ал.», сам того не подозревая, делает и чрезвычайно красноречивые признания. Вот такие:

«Чтобы усилить тяжесть своих обвинений, они (те, кто во Франции обличают фашистский режим в Болгарии.— Н. Х.) собирают подписи всевозможных моралистов, поэтов, литераторов и пр. Многие из этих имен — большие имена, и именно это, кажется, придает особый смысл (курсив мой.— Н. Х.) столь привычному большевистскому шуму».

«Но и это пройдет», — утешает сам себя автор злополучных писем.

А. Барбюс пока сказал всего несколько слов. Впереди самое важное: книга — приговор и призыв к совести всего человечества.

Барбюс пишет торопливо, круглые сутки. Надо поскорее дать ее в руки миллионов читателей. Он хочет быть строго документальным: языком одних только цифр и фактов заставить людей поверить в невероятное.

Писатель уединяется на своей вилле «Вижилия» на берегу моря у Мирамара. Окно его кабинета выходит на море, это большое выпуклое стекло, напоминающее иллюминатор океанского парохода. Стол сдвинут в сторону, потому что под ним не умещаются длинные ноги хозяина. В такой позе день за днем в течение трех месяцев Барбюс пишет свою необычную книгу. Это не роман, хотя как герои, так и описываемые в ней события вполне достойны широкого эпического полотна. Не документальный отчет о выполнении гуманной миссии — слишком глубокие борозды проложила эта поездка в мыслях и сердце писателя, чтобы он мог оставаться беспристрастным регистратором фактов. Это, как было сказано позже в одной из рецензий, — «евангелие народных страстей, книга о надеждах угнетенных».

Окно виллы «Вижилия» светится до поздней ночи. Свет, льющийся из комнаты Барбюса, служит маяком местным рыбакам, когда они уходят на ночной лов. Уже за полночь писатель слышит под своим окном шаги и приглушенные голоса возвращающихся домой рыбаков. Для него это сигнал, что пора отдохнуть.

Ранней весной 1926 года Барбюс заканчивает свою книгу. В начале июня она выходит из печати и тут же включается в битву — бесстрашный воин истины.

Нелегко пересказывать эту книгу. Она плотна, лаконична, строга. Она сама словно пересказ народных судеб, бесконечной цепи событий, вместившихся в тесное пространство ее страниц.

Первые же ее строки вступают в спор со всевозможными «доброжелателями» народов Балканских стран. Затрагивая самую чувствительную струну в сознании каждого народа — его достоинство, «доб-

рожелатели» утверждают, что разоблачения Барбюса дискредитируют страны и народы, которые тот посетил. «Нет,— отвечает писатель,— я никогда не упускал случая выразить свое восхищение, уважение к болгарскому и всем другим народам, среди которых мне пришлось быть». И он рассказывает о встреченных им людях — честных, высокосоциальных, о которых он «сохранит глубокое воспоминание».

«Народ,— голос Барбюса становится громким и беспощадным,— не несет ответственности за действия и поведение разместившихся в столице паразитических властей».

Тема народа, по духу, морали и прозорливости стоящего неизмеримо выше своих фашистских правителей, красной нитью проходит через всю книгу Барбюса. Он с восхищением говорит о встреченных им выдающихся людях, о представителях интеллигенции, культура которых «не ниже, а часто выше культуры интеллигенции Запада».

Опровергнув несправедливые обвинения в «дискредитации» балканских народов, Барбюс переходит к главному — выявлению подлинных виновников трагических событий в Болгарии и на Балканах. «В Болгарии правительство г. Цанкова и военного министра генерала Вылкова (они неразлучны) не имеет никаких глубоких корней». Писатель раскрывает и двуличную роль царя Бориса, посвятив ему полные иронии строки: «Он удовлетворяется тем, что отказывается утверждать смертные приговоры, вынесенные по политическим соображениям, но... это всего лишь призрачная щепетильность, так как правительство не постесняется подослать убийц к тем, кого он пожелал бы помиловать».

Количество убитых? На этот вопрос едва ли когда-нибудь будет дан точный ответ. Барбюс перечисляет высказывания болгарских правителей, называющих самые разные, но во всех случаях неполные цифры. Царь Борис публично признался, что жертвы исчисляются тысячами, Цанков сообщил о сотне убитых учителей, министр иностранных дел Калфов признался, что лишь в сентябре 1923 года было убито пять тысяч человек, а главный секретарь министерства иностранных дел уверял Барбюса, что после прихода к власти правительства Цанкова числе

жертв не превысило трех с половиной тысяч. Скромнее всех генерал Вылков, по его словам, убито всего... двадцать пять революционеров...

«Каким неприкрытым цинизмом звучат эти слова!» — восклицает Барбюс.

А великие державы? Какова их позиция? «Они сеют междоусобицу на Балканах и являются соучастниками кровавого балканского хаоса... Разве не поразительно то благожелательное отношение, с которым правительства западных стран взирают на поведение разбойничьих правительств?» Для Барбюса нет существенной разницы между европейскими правительствами — все они одинаково лицемерны и на словах, и на деле. «В своих громких декларациях наши правители только и твердят о мире и порядке. Цанков и Вылков также говорят об этом и в тех же выражениях. Цанков, профессор-мясник, не допускает и мысли, что его правительство может считаться реакционным. «Это, — говорит он, — слухи, которые распускают «Юманите» и другие коммунистические газеты. В действительности, — уверяет он, — его правительство самое либеральное»».

Я отмечаю лишь наиболее характерные места из книги Барбюса и вспоминаю характеристику, данную ему Лениным: «...Это великий голос!» Книга Барбюса дает толчок движению международной солидарности с болгарскими революционерами. Достаточно привести в пример Альберта Эйнштейна, который поднял свой голос в защиту героев нашей революции, узнав о них из книги Барбюса.

Но Анри Барбюс владеет не только силой художественного слова. Он блестяще пользуется и еще одним оружием — оружием организованной борьбы. Уже во время работы над книгой он сумел осуществить еще один свой замысел: создание комитета защиты жертв белого террора на Балканах. В этот возглавленный им комитет вошли писатели Ромен Роллан, Виктор Маргерит, Поль Луи, Жорж Дюамель, Жан-Ришар Блок, ученый Ланжевен, общественные деятели Поль Вайян-Кутюрье, Жак Дюкло, Марсель Вилар... Всего 53 человека. Создание французского комитета послужило толчком для возникновения подобных комитетов и организаций — в Вене во главе с д-ром Розенбергом, в Лондоне — под председа-

ством Веджвуда, в Женеве — проф. Дувилара, в Берлине — Келлермана и Бехера...

Новое правительство Ляпчева из всех сил стремится убедить мировую общественность, что оно захлопнуло страницу кровавых иступлений и что отныне в политической жизни Болгарии восторжествует принцип «терпимости и справедливости». Здесь имеется в виду широко рекламируемая, почти не переводимая на другие языки формула Ляпчева: «Со кротце, во благо...» Не без участия болгарского посольства в Париже в газете «Тан» появляется заметка, где утверждается, что Барбюс, в сущности, говорит в своей книге о событиях, уже принадлежащих прошлому, так как приход к власти правительства Ляпчева принес Болгарии умиротворение и законность.

В действительности кабинет Ляпчева, в котором военным министром остался все тот же Вылков, очень мало отличался от предыдущего правительства. Тюрмы по-прежнему были полны тысячами политических заключенных, суды всей страны вновь мобилизованы на расправу с коммунистами и другими противниками режима. Власти инспирировали большие судебные процессы в Плевене, Кюстендиле, Бургасе, Русе, Варне, Сливене, Пазарджике...

Да и сам Цанков, занявший пост председателя Народного собрания, отнюдь не чувствовал себя выброшенным из политической жизни. Он по-прежнему возглавлял свою партию «Демократический стговор», с той же энергией организовывал собрания, произносил речи. И тон их совершенно тот же — самовосхваление, угрозы...

В апреле 1926 года в Софии был созван первый съезд молодежной организации «Демократического стговора». В Центральном городском сквере перед казино молодые фашисты организовали манифестацию. Вот над кричащей толпой проплывает поднятый на руки Цанков. С балкона казино он произносит очередную «великую» речь:

— Нас обвиняют в том, что мы прибегали к жестоким средствам... Нам можно приписывать ошибки, но кто, рожденный женщиной, не ошибается.

Нас обвиняют в реакционности, требуют, чтобы мы взяли на себя ответственность за исчезновение

людей... Я согласен ответить лишь на один вопрос: уберегли мы государство? Да! Мы занимались не одним лишь умиротворением.

Мы творили.

Я сожалею о жертвах, которые были принесены, но ничья тень нас не смущает.

Наша совесть чиста. И сама история нас оправдает.

Потому что мы совершали подвиги в защиту Болгарии!

И далее вся речь выдержана в таком же тоне. Палач болгарского народа не мог упустить возможности и не осыпать хулой «врагов Болгарии, таких, как Анри Барбюс и все прочие, кто кует оружие против Болгарии».

Болгарские фашисты придавали особое значение этому своему «аргументу»: по их мнению, все, кто писал о терроре в стране, компрометировали Болгарию перед всем миром. Когда книга Барбюса «Палачи» вышла из печати, первой реакцией официальной Болгарии было полное молчание. Но в разных странах Европы появились ее переводы, и в адрес болгарского правительства стали поступать требования, чтобы оно подтвердило или опровергло приведенные в книге данные.

Опять виноватое молчание. Лишь несколько болгарских газет опубликовало ряд бессвязных нападок на автора книги, направленных главным образом против его политических взглядов. И тут на помощь Цанкову и его наследникам пришли их западноевропейские покровители. Целый ряд лондонских, парижских, венских газет вдруг принялись дружно обвинять Барбюса в политической пристрастности, грязных намерениях и даже — какая забота! — в неуважении к народам Балканских стран.

Барбюс с пренебрежением проходит мимо всякого рода личных нападок. «В этих протестах, носящих характер партийной полемики и предвзятости,— заявляет он,— я не нахожу никаких доводов, которые могли бы меня заставить изменить в чем бы то ни было факты, статистические данные и непосредственно вытекающие из них выводы. Никакого опровержения, по существу, сделано не было».

Но когда клевета поползла дальше и посягнула

на самое святое — его писательскую и гражданскую честность, Барбюс снова взялся за перо, чтобы достойно защитить свое дело и дело всей борющейся Болгарии:

«Были попытки заглушить голос этой книги нарочитым равнодушием и старой классической практикой заговора молчания. Эта книга недостижима, не потому, что она отличается особой высотой, а лишь потому, что она документ истины.

Тогда они постарались опорочить книгу косвенно, как порочили самого меня, утверждая, что я написал ее с политической целью. Абсурдное, само собой отпадающее обвинение, потому что здесь мы имеем дело с одними точными фактами и конкретными документами.

Утверждалось также, что я хотел скомпрометировать болгарский народ. Я несколько раз публично опровергал эту клевету. Болгарский народ пережил трагический кризис и является жертвой, заслуживающей всяческого уважения и почтения. Болгарский народ не имеет ничего общего со своими правителями, и я, как и мои товарищи во всем мире, не признаю той вредной и софистской солидарности, которая якобы существует между эксплуататорами и эксплуатируемыми в одной и той же стране.

Добавлю, что дело, которое я сделал и которое после меня будет продолжено другими, пока болгарский народ не завоюет себе лучшей доли, адресовано всему миру или, самое меньшее, «всем тем, у кого есть сердце и здравый ум»».

Книга Анри Барбюса продолжала борьбу. На улицах Парижа появились огромные плакаты со словами писателя: «Во имя человеческой совести и международной солидарности рабочих мы обращаемся к общественному мнению Франции с призывом встать на сторону болгарских заключенных, которые ведут жестокую борьбу против своих палачей».

Это происходило в дни, когда политзаключенные болгарских тюрем объявили всеобщую голодовку. Они требовали прекращения позорных процессов и всеобщей амнистии.

Голодовка была необычайной по своим размерам: все политзаключенные, а их насчитывались тысячи, отказались принимать пищу от своих мучите-

лей. «Лучше погибнуть голодной смертью, чем безропотно гнить в тюрьме!»

В это же время в Софии находилась английская делегация, состоящая из лейбориста Гринфельда и лидера Независимой рабочей партии Уэллхейда. Они встретились с премьер-министром Ляпчевым и разговаривали с ним два часа.

Гринфельд, бывший шахтер, двадцать три года проработавший на рудниках Южного Уэльса, прямо спросил премьер-министра: «Есть ли террор в Болгарии?» Ляпчев ответил, что всюду, куда достигает его рука премьера, террора нет, и сам он отнюдь не давал распоряжения проводить террор. Когда же Ляпчев заявил, что в Болгарии нет лиц, арестованных за политические убеждения, Гринфельд возразил: «Но нам известно, что есть матери, арестованные за то, что они укрывали своих подвергавшихся преследованию сыновей, и сыновья, арестованные за то, что пытались спасти своих преследуемых отцов. А разве арестованные недавно молодые коммунисты не были задержаны только из-за своих убеждений?» Ляпчев ответил: «Это неверно! Они арестованы не за их собственные убеждения, а за внушенные им извне чуждые, русские убеждения!»

Здесь английские делегаты заметили, что, вероятно, болгарские фашисты считают, что Советская Россия виновна во всем: в низких урожаях, в дурной погоде, в эпидемиях, виновна в падении заработной платы, в экономических кризисах, в лихорадочных скачках денежного курса...

В конце беседы англичане предложили Ляпчеву помочь созданию комитета помощи жертвам террора, в который, по их мнению, должны войти писатель Антон Страшимиров и вдова журналиста Хербста, «сожженного в печи центрального отопления Дирекции полиции», Виола Каравелова. Ляпчев отказался разрешить деятельность такого комитета.

В отчете английскому парламенту оба делегата рассказали о своих встречах с вдовами и сиротами жертв террора. «Мы узнали ужасные подробности о массовых убийствах и расстрелах. Мы дали честное слово доверившимся нам людям, что нигде не будем упоминать их имен, чтобы уберечь их от террора».

Заключение делегации звучит категорически:

«На самом деле в Болгарии управляют фашистско-террористические организации. Их шеф и покровитель генерал Вылков известен своим участием во всех массовых убийствах, совершенных во время гражданской войны в Болгарии. Мы также убедились, что болгарский народ не желает безропотно подчиняться этому режиму насилия, наоборот, возмущение и недовольство растут, подобно лавине, и находят самые различные способы выражения. Это недовольство поможет демократии победить в грядущих политических событиях».

Вопрос о судьбе болгарских политзаключенных был поставлен также в Совете Лиги наций в Женеве. Но разве представители западных стран могли согласиться даже на словесное предупреждение правительству Ляпчева — Вылкова! Очень характерно поведение участвовавшего в заседании английского премьер-министра Чемберлена. Бельгийский представитель в Совете Лиги наций Вандервельде заявил, что после всего увиденного и пережитого им в Болгарии он убедился в абсолютной необходимости амнистии всем политическим заключенным. Газеты отметили горячность, с какой были сказаны эти слова. Представитель Болгарии ответил на это заявление очень кратко, не сказав ничего определенного по вопросу об амнистии. И тут взял слово Чемберлен. Вот как описывает это событие венская газета «Арбайтер цайтунг»:

«Выражение его лица было мрачнее обычного. Твердым голосом он заявил, что не хочет умерить силу высказывания Вандервельде, однако должен напомнить, что Лига наций, как международная организация, не должна и не может вмешиваться во внутренние дела государства — ее члена. Первейший долг Лиги наций — уважать суверенитет ее членов. После этого Чемберлен сел, и на его лице, как и на лице генерального секретаря Друммонда, появилось выражение оскорбленного достоинства».

Возвратившись в Лондон, Чемберлен попал под обстрел ряда депутатов-лейбористов. Опубликованные в то время газетные материалы дают нам возможность восстановить картину словесного поединка, происшедшего в английском парламенте.

Веджвуд. Верно ли, что г. Чемберлен возражал в

Лиге наций против предложения бельгийского представителя Вандервельде рекомендовать болгарскому правительству дать амнистию политическим заключенным Болгарии?

Чемберлен. Я не высказывался ни за, ни против предложения Вандервельде. В компетенцию Лиги наций не входит вмешательство во внутренние дела стран — членов этой организации.

Веджвуд. Известно ли английскому правительству, что Англия обвиняется в поддержке террористского правительства Болгарии. (Здесь, как отмечают газеты: «Консерваторы оживленно протестуют».)

Чемберлен. Болгарское правительство совершенно законное, а не террористское!

Веджвуд. Вы, г. Чемберлен, вероятно, забыли о жестокостях, совершенных в Болгарии в последнее время!

Пикировка в английском парламенте, не оставляющая никакого сомнения в роли, которую правительство Великобритании сыграло в болгарских событиях, роли соучастника и подстрекателя, стала предметом многочисленных комментариев в европейской прессе. Газета «Интернационале Роте Хильфе» писала: «Можно только удивляться лицемерию, с которым господин Чемберлен, невзирая на факты невиданных преследований, относится к жизненно важным политическим проблемам Болгарии».

Одно из писем Георгия Бакалова застало Максима Горького в итальянском курортном городке Сорренто. Коварный недуг тех лет — туберкулез вновь погнал великого писателя к теплым берегам южного моря. Бакалов обратился к Горькому с просьбой присоединиться к требованию полной амнистии болгарским политическим заключенным.

Горький ответил на письмо суровыми, без всяких иллюзий словами:

«Какое влияние слова призыва к великодушию и милосердию могут иметь на людей, цинический эгоизм которых в своем, давно уже безумном стремлении удержать трудовые массы в экономическом рабстве не боится никаких преступлений и уже ни на что более, кроме преступлений, не способен?»

Дело Сакко — Ванцетти показало всем верующим в возможность смягчить палачей изъяснениями гуманизма, что вера эта наивна и в современной действительности места ей нет.

Хотя правящие классы знают, что источник гуманизма — евангелие, хотя они и утверждают, что помнят Христа и что он их бог, но ведь каждый день и каждый час говорит нам, что это только их привычная и, в сущности, уже не нужная им ложь; сегодня — ложь более, чем вчера и чем она была всегда.

Ложь эта особенно хорошо обнажается злобой на Россию, страну, где народ, изгнав паразитов, сам хочет быть хозяином своей жизни.

В склонность правящих классов к великодушию я никогда не верил, тем более не могу верить в это после отвратительной бойни 1914—1918 гг. и после десяти лет бесчисленных преступлений против трудового народа...

Но если Вы найдете полезным, опубликуйте это письмо, пусть прочитают его люди, так усердно и так безумно воспитывающие в народных массах чувства ненависти и мести».

...Болгарское правительство отвергло требование политзаключенных о всеобщей амнистии. Известие об этом вызвало новую волну протеста европейских рабочих и деятелей культуры. В парижском зале «Сосьете саванн» состоялся большой митинг с единственным пунктом повестки дня: «Амнистия жертвам белого террора в Болгарии!» Выступают депутат от радикальной партии Газаль, заместитель председателя французского парламента Фредерик Бруне, бывший социалистический депутат Брак, писатель Поль Луи...

На трибуну выходит и журналист Даниель Рену. Прошло уже много месяцев с тех пор, как он вернулся из Болгарии, но картина страданий и мужественной борьбы болгарских революционеров до сих пор живо стоит перед его глазами.

Речь его полна необычайной силы:

— Болгарские фашисты не желают дать амнистию... Амнистию, которой требует вся честная Бол-

гария, за которую, несмотря на террор, были поданы тысячи петиций; амнистию, за которую голосовали целые села — с учителем, священником, хлебопашцами и пастухами, имеющими одну-единственную рубашу; амнистию, к которой протягивают руки вдовы и сироты пропавших без вести, эмигранты в Белграде, Берлине, Париже, Америке; амнистию, ради которой объявили голодовку две тысячи политзаключенных во всех тюрьмах Болгарии, — героический акт пролетарской дисциплины, который останется в истории.

Болгарский премьер-министр заявил делегации лейбористской партии: «Я забочусь об интересах заключенных. Если я их освобожу, то члены организации «Кубрат» и «Защита родины» все равно их прикончат». И находятся наивные люди, которые им верят.

Но мы, мы говорим, что болгарский народ с нетерпением ждет возвращения политзаключенных и эмигрантов; мы утверждаем, что день, когда в честь их освобождения загремят колокола — Народная пасха! Красная пасха! — станет для Болгарии днем, какого не было со времен той эпической борьбы, когда грозная власть Турции была вынуждена признать болгар нацией.

Мы говорим, что в этот день болгарский народ сумеет защитить своих воскресших сынов и найдет способ обезвредить бандитов из фашистских организаций.

Но эти колокола еще не прозвонили!

Гордые борцы Болгарии заявили, что не желают принимать единичных помилований, а требуют всеобщей и безусловной амнистии...

Да, белый террор косит болгарский народ. Но он защищается, он борется, он победит и сейчас требует от международного пролетариата только одного — не забывать о нем...

Какое-то особое чувство овладело мной, когда я соприкоснулся с этими словами. Это было не только восхищение человеком, нашедшим в своем сердце столько огня и мужественной скорби. Меня охватило еще одно большое, потрясающее чувство — чувство гордости за томившихся в болгарских тюрьмах закованных, замученных пытками и истощенных голо-

дом людей, чей подвиг поднял такую волну солидарности и великого братства.

На митинге в «Сосьете саванн» выступил и Габриель Пери, редактор и заведующий международным отделом «Юманите».

Габриель Пери! Тот самый, который спустя годы стал славой и гордостью Франции!

На следующий день в «Юманите» была опубликована его статья о положении в Болгарии. В ней он в форме комментария раскрыл основные положения своей речи. Первые строки рисуют внушительную картину митинга: «Мы рассказали полным гнева слушателям о мученической судьбе распятого народа, о закованных в тяжкие цепи заключенных». Затем Габриель Пери пишет о связях болгарского правительства с главными представителями международной реакции: «Обвинение против палачей надо было адресовать еще выше, надо было публично разоблачить их европейских союзников и соучастников и, атакуя болгарскую диктатуру, обрушить такой же удар на европейский фашизм и империализм». И Габриель Пери раскрывает сущность международного заговора против революционной борьбы болгарского народа: «Военная лига превратила Болгарию в послушное орудие фашистской заносчивости и британских капризов. Форейн-оффис стремится превратить Болгарию в активного участника антисоветского похода. Болгарское государство должно стать орудием в борьбе против революционной России. На Балканах, так же как и на Дальнем Востоке, английский империализм не может простить революционной России того, что она своим примером вдохновляет страдающих, замученных и убиваемых».

Заключительные слова Габриеля Пери призывают к солидарности с борющимся болгарским народом:

«Отсюда следует, что на фронте международной классовой борьбы мы должны добиваться амнистии для болгарских героев-мучеников. Больше того, борьба за амнистию в Болгарии — часть той борьбы, на которую мы зовем пролетариат, часть борьбы в защиту Советского Союза и мира! И в этой борьбе единого пролетарского фронта коммунисты всегда в первых рядах!»

Железная логика этих слов, сдержанных, лишенных внешнего блеска, но сильных своей правотой, необычайно соответствует всему духовному облику Габриеля Пери. Борьба за свободу и социальную справедливость каждого народа неотделима от общей борьбы человечества. Такова позиция всей бескомпромиссно революционной жизни Габриеля Пери.

В годы фашистской оккупации Габриель Пери стал одним из организаторов французского Сопротивления. Его «подпольные тетради» — воззвания, листовки, плакаты, так же как и статьи в нелегально издававшейся «Юманите», воодушевляли свободолюбивый французский народ. Схваченный агентами продажного правительства Виши и переданный в гестапо, он предпочел расстрел публичному отречению от своих идей и своей борьбы. 15 декабря 1941 года фашисты привезли его на стрельбище крепости Мон Валерьен. Стоя перед направленными на него автоматами, Габриель Пери запел бессмертный гимн Франции «Марсельезу». Залп заставил его упасть на колени. Смертельно раненный, он, собрав последние силы, запел великую песнь борющегося человечества «Интернационал». Еще один яростный залп, и Габриель Пери падает вместе с простреленной песней.

Как это верно, что смерть человека лучше всего показывает истинную цену его жизни.

Могила национального героя Франции находится недалеко от Иври. Он лежит там, по-братски обнявшись с товарищами, которые предпочли черный плен земли позору и примирению, как и те, в защиту которых он поднял свой голос в 1925 году. Уже во время оккупации его могила стала местом паломничества всей Франции. Фашисты огородили ее колючей проволокой, поставили охрану, но каждое утро последний приют героя был украшен венками голубых гортензий.

И вновь я думаю об Анри Барбюсе.

Его голос в защиту борющегося болгарского народа долго еще звучал над планетой. Место сраженных революционеров занимали другие, фашисты отчаянными усилиями пытались сломить волю народа,

но это лишь укрепляло его непримиримость. «Я удивляюсь,—восклидал Барбюс,—неописуемой храбрости этой пролетарской элиты, городской и сельской, которую все еще продолжают угнетать, убивать — и не могут уничтожить, которая со все большим упорством продолжает лелеять свою мечту о свободе и человеческом достоинстве. Ваш пример, болгары, не будет забыт! Он — неоценимый вклад в общее великое дело всего мира!»

В дни Лейпцигского процесса Барбюс незримо встанет рядом с пламенным болгариним, поднявшим знамя мирового пролетариата в самой крепости фашизма: «Мы живем в век крови! Но среди этого всемирного хаоса звучит прекрасный, обвиняющий голос Георгия Димитрова! И рядом — как символ и светлое знамение — могучий Тельман, распятый на ломаном кресте свастики».

Последние дни Анри Барбюса.

Август, 1935 год. В Москве заседает VII конгресс Коминтерна. Димитров уверенно намечает пути борьбы против фашизма. Барбюс в зале — напряженный, весь пронизанный ощущением исторической значимости этих дней.

Передо мной страницы из дневника Аннет Видаль: «Речь Димитрова глубоко взволновала Барбюса. Я видела его счастливый взгляд и то, как у него едва заметно подергивалась нижняя губа и подбородок — признак глубокого волнения:

— Монумент! Какая ясность выражений! Он гений точности...»

Конгресс еще не закончился, когда болезнь снова схватила Барбюса. На этот раз она была безжалостна.

Великий писатель скончался в Кремлевской больнице 30 августа 1935 года.

Перед утопающим в венках гробом в почетном карауле стоит Димитров. Падают слова, краткие и суровые, какими мужественные борцы прощаются с павшими товарищами.

— Он умер на своем посту!

В этих словах не только правда. Они эпилог целой жизни — пылающей, воюющей, без остатка розданной людям.

Жизнь рыцаря недремлющей совести человечества.

ВТОРАЯ ТРУБА

Кажется, сказано все.

Все — и так мало! Из моих записных книжек рвутся голоса стольких еще людей, событий, судеб! Но даже если их всех перенести на страницы этой книги, главная, большая правда все равно останется нераскрытой. Потому что мы, те, кто живет сейчас, можем лишь ладонью прикоснуться к следам минувшего. Живое дыхание, жар человеческих чувств, сияние мысли — все это навсегда застыло в моем времени.

Когда Барбюс писал свою книгу о Болгарии, на его письменном столе неизменно лежал вышитый платок, присланный ему одной болгарской политзаключенной. Что может сказать о человеке этот кусочек ткани, расцвеченный красками болгарской земли? О тонком солнечном луче, проникшем в мрачную тюремную камеру? О бледных пальцах, печально и мечтательно поющих над грубой тканью? А может быть, он готов поведать о чем-то совсем ином, единственном и неповторимом, навсегда потерянном для нас? На этот вышитый платок Барбюс всегда ставил вазу с цветами.

А вот словно бы написанное кровью письмо, которое Барбюс получил вскоре после выхода в свет «Палачей». Прорвавшись сквозь тюремные стены, оно преодолело тысячи километров, чтобы донести до благородного друга слова обреченных: «Ты поднял голос в нашу защиту, и цепи наши стали легче. Спасибо тебе, Барбюс!» Сейчас это письмо — экспонат архивного наследства писателя. А тогда?..

По всей вероятности, во время своего пребывания в Болгарии Барбюс встречался с Антоном Страшимировым. Барбюс писал о нем в своей книге: «Антон Страшимиров, человек высокого духа, одна из самых

крупных личностей в Софии, пожертвовал все, что имел, бедным и осиротевшим детям тех, кто погиб во время режима Вылкова, красноречиво защитив тем самым священное и правое дело». Для нас встреча Барбюса и Страшимирова — логически необходимое соприкосновение двух родственных духовных миров. А для них? Где они, живые чувства этих двух непримиримых поборников правды? Где незаметные остальным свидетельства близости и взаимного восхищения? Искать напрасно — они навсегда погребены под тяжелыми пластами времени.

Рабочие Курска отдали семьям погибших болгарских героев свой однодневный заработок, кольца, часы, табакерки, украшения. Крестьяне Полтавской губернии собрали полторы тысячи золотых червонцев для болгарских политзаключенных. Артисты Московского Большого театра дали ряд спектаклей в пользу жертв белого террора в Болгарии. За два года (1923—1925) советские люди собрали и послали в Болгарию триста пятьдесят тысяч рублей.

Что значило это для все еще недоедавших, разутых советских людей? Можно ли рассказать о каждом, кто вписал свое имя в списки этой огромной армии заочных добровольцев болгарской революции? Можно ли воскресить живую силу тех минут, когда на голые столы заводских красных уголков рабочие руки складывали бесценные семейные реликвии — кольца, браслеты?..

А гневная первомайская демонстрация в лондонском Гайд-парке, когда десять тысяч рабочих были охвачены единой мыслью о далекой Болгарии! И последовавшее за ней шествие к болгарскому посольству, и письма протеста, адресованные правительству Цанкова...

А митинг протеста, состоявшийся в Вене осенью 1925 года и грубо разогнанный полицией! Десятки людей были арестованы только за то, что их возмущение «выходило за рамки полицейских инструкций о порядке». Можно ли заглянуть в камеры полицейских участков Вены и увидеть живые искры товарищеской солидарности, обращенные к далекой и такой близкой Болгарии?

А двадцатитысячный митинг перед зданием болгарского посольства в Берлине? И его резолюция,

единым категорическим жестом сорвавшая маску лицемерного патриотизма фашистской прессы: «Мы выражаем глубочайшую симпатию многострадальному болгарскому народу, который дал столько доказательств демократического и свободолюбивого образа мыслей и завоевал почетное место в культурной жизни народов мира. Он мог бы вершить великие дела, если бы над ним не тяготело это ужасное рабство!»

Каждый народ жаждет свершить великое. Но как мучителен путь, ведущий к нему! Великие дела болгар пробивались к миру сквозь непроницаемую броню мрака и страданий...

На одной из витрин софийского Музея революционного движения выставлена деревянная трость-дубинка. Эту дубинку генерал Вылков подарил своему коллеге по Военному союзу генералу Лазарову в один из редких приступов веселого расположения духа. На дубинке надпись: «9 июня 1923».

Как много может рассказать такой символический подарок! Наверно, вручен он был в подходящей случаю обстановке на какой-нибудь пирушке в доме одного из друзей — генералов. Под хриплый смех «героев» 9 июня дубинка с соответствующей торжественностью была внесена в комнату и как священная реликвия передана из одних генеральских рук в другие. Человечество всегда испытывало потребность в символах. Палачи, которые, к великому сожалению, тоже составляют часть человечества, порой также испытывают потребность воплотить свои идеалы в какой-либо символической вещи.

Когда возмездие наконец призвало оставшихся в живых палачей в зал народного суда, одним из обращенных к ним вопросов был: покажите, как осуществлялось удушение. Подсудимым давали кусок конопляной веревки, минуту-две они стояли, припоминая. Потом пробуждалась уснувшая в руках память, пальцы начинали ловко сновать по веревке — вперед, потом вниз, пока не возникала петля — подлинное открытие палаческой науки. Затем петля набрасывалась на голову воображаемой жертвы, затягивалась с двух сторон... Люди в зале, оцепенев, следили за жуткими движениями этих рук. В петле — воздух, ничего другого, но все видели своих братьев и отцов,

трагические всплески рук и тела, рухнувшие ничком на окровавленные каменные плиты... У присутствующих в зале останавливалось дыхание — воскресшая из мрака петля их тоже лишала воздуха.

В последнем ряду сидит седая женщина. День за днем идет процесс, а о ее муже никто ничего не знает, ничего не помнит. Наступает последний день. Свидетель рассказывает: «...из нашей камеры вывели одного человека. Имени его я не помню, знаю только, что он был учителем из Кюстендила. Он попытался передать нам маленькую куколку, купленную в подарок дочке. Но военные не позволили...»

Эти слова заставляют женщину в последнем ряду вскочить со своего места. Она расталкивает людей, подходит к столу с вещественными доказательствами. И видит... потемневшую от земли, облупившуюся, ослепшую фарфоровую куколку. И вспоминает, что в день ареста муж обещал принести дочке подарок ко дню рождения.

Женщина держит в руках фарфоровую девочку: время отступает, остается лишь один день, день последней разлуки, остаются лишь они двое — она и ее Радивой, пришедший к ней из глубины лет, чтобы передать свой подарок.

А два года спустя поэт Георгий Струмский прикоснется к трагической силе этого мгновения и превратит его в поэзию¹.

До того как палачи предстали перед гневным взором народа, они жили среди него. Растили детей, переживали обычные житейские радости и неудачи — как и все люди, как мы.

И все же — не так, как мы.

Потому что возмездие целых десять лет шло за ними по пятам; они слышали его приближающиеся шаги, особенно по ночам, в часы одиночества и внезапных пробуждений, когда тишина выкрикивала им в уши свой приговор. Десять лет им пришлось прожить среди сыновей и братьев тех, кого они душили, расстреливали и которые все же победили, потому что никакая власть не в силах сломить волю всего народа. Чем были для них эти десять лет?

¹ Поэма Г. Струмского «Подарок» вошла в его книгу «Две поэмы» (София, 1958). — Прим. авт.

Вначале они отнюдь не чувствовали себя изгоями в новом обществе. Бывший Военный союз вовсе не спешил уйти в отставку. В последние месяцы антигитлеровской войны почти все офицеры из карательных групп Кочо Стоянова благодаря трогательной коллегиальной заботе бывшего военного министра Дамяна Велчева были посланы на фронт. Этот министр, сам в прошлом член руководства Военного союза, настолько увлекся в старании уберечь свои кадры от народного возмездия, что даже сфабриковал специальное постановление, основной смысл которого заключался в том, что участие в Отечественной войне должно послужить «искуплением» за преступления, совершенные офицерами бывшей царской армии. Но народ разоблачил хитрый ход военного министра. Злополучное «Четвертое постановление» было сметено прокатившейся по всей стране волной митингов и собраний.

И все же, как это подтвердил и процесс 1954 года, ряд фашистских офицеров, против которых не было выдвинуто доказанных обвинений, стали участниками войны. Это относится и к большинству офицеров бывшей Третьей секции генерала Вылкова. Были, разумеется, и исключения — сам Вылков, уже вышедший к тому времени в отставку, был помещен в лагерь для бывших фашистских руководителей.

Участие в Отечественной войне бывших офицеров Третьей секции — факт столь же абсурдный, сколь и объяснимый для того времени. Невозможно одним взмахом освободить общество от всего чуждого и враждебного. Это особенно верно для армии, которая буквально на следующий день после Девятого сентября включилась в активные военные действия против гитлеровцев.

Итак, пользуясь покровительством военного министра Дамяна Велчева, бывшие каратели отправились на фронт, воодушевляемые отнюдь не ненавистью к фашистам-гитлеровцам, а скорее надеждой избежать народного возмездия или хотя бы отсрочить его. Некоторые из них попали в репортажи военных корреспондентов как герои Отечественной войны, а один даже послужил прототипом для романа. Я говорю это не затем, чтобы упрекнуть автора,

а только чтобы лишний раз подчеркнуть двойную жизнь бывших палачей.

После войны время развеяло их по самым разным дорогам мирной жизни. Один стал директором армейской кооперации: выступал с докладами, внедрял соревнование, даже был награжден профсоюзным значком «Отличник производства». Другой занял должность тренера-инструктора по конному спорту при Высшем комитете физической культуры и спорта. «Его собирались включить в республиканскую секцию современного пятиборья,— сообщил на суде один из свидетелей,— но после всего этого...» Третий работал в квартальной секции Отечественного фронта, ведал организацией добровольных трудовых бригад и во главе добровольцев-соседей строил... детские площадки. Арест прервал адвокатскую деятельность четвертого, смутил пенсионный покой пятого...

Бывший шофер Александр Петрович в 1948 году прекратил свою торговую деятельность и поступил на службу в управление курорта Банкя, откуда перешел в Хисар на должность кассира и завхоза санатория. В 1950 году он вновь вернулся в Софию, уже в «Балкантурист». Постоянная неудовлетворенность, а может быть, самая обычная боязнь разоблачения гнала его с одного места работы на другое. Наконец он нашел себе тихую пристань в Бачковском монастыре, поступив туда кассиром. До ареста.

В протоколах процесса записан следующий диалог между обвинителем и обвиняемым:

Прокурор. Вы человек религиозный?

Подсудимый. Да.

Прокурор. Как же вы примиряли участие в убийствах 1925 года со своим религиозным чувством?

Подсудимый. В молодости я не был религиозен, но все это так потрясло и напугало меня, что я действительно искал в религии успокоения и отпущения грехов...

Я пишу обо всем этом не затем, чтобы патетически воскликнуть: «Убийцы среди нас!» Каким бы нелепым и оскорбительным ни было присутствие этих людей в нашем обществе целых десять лет, я не могу и не хочу упрекать тех, кто отнесся к ним с доверием. Ведь они были уверены, что это такие же люди,

как и все остальные. Естественное, присущее каждому человеку чувство! Я сказал бы даже, что оно свидетельствует о моральной силе нашего общества.

Если бы у бывших палачей оставалась хоть капля совести, они, наверное, глубоко бы задумались над всем этим...

Александр Христов, единственный из подсудимых, который на процессе 1954 года был признан невиновным и оправдан, дал показания, которые явно выделили его из всех остальных. У других обвиняемых они вызвали странную реакцию. «Мы тоже были честными людьми!» — прервал слова Христова глухой ропот палачей. На этот раз председателю суда пришлось призывать к тишине и порядку... подсудимых.

«Были...» Когда? Люди, соребновавшиеся друг с другом в жестокости, сейчас, перед судом народа, наперебой стремились подчеркнуть свои высокие моральные качества. Они вспоминали что-то давнее, смутное. Может быть, детство? Или что-то все-таки блеснуло в темных закоулках их давно уснувшей совести? Отсвет какого-то не до конца умерщвленного человеческого чувства?

Едва ли. Затягивая петли, они ведь убивали не тех, кто нес в крови бессмертие. Они убивали себя, свою совесть, все человеческое, что в них было. И каждое усилие их мышц убивало последние жалкие капли человечности, еще блуждавшие в их крови.

Перед судом народа их терзал один лишь страх физической смерти, внушенный самой природой. Страх, которому подвластны даже самые ревностные мастера насилия и прислужники смерти.

Председатель суда оглашает приговор:

— Именем народа... приговариваются...

Это последний день процесса, состоявшегося в августе 1954 года.

Последняя страница уголовного дела № 634.

Гео Милев погиб в тридцать лет, Христо Ясенов — в тридцать шесть. Сергей Румянцев не дожил до двадцати девяти, Георгию Шейтанову только что исполнилось двадцать восемь...

Революционные поэты Болгарии погибают молодыми. Прекрасно, но невыносимо жестоко.

Сколько еще мог бы написать Гео Милев? Я вижу поэму «Сентябрь» — зарево начало устремленного ввысь пути — лишь первой вершиной в бессмертном ряду творений, возносящихся в поэтическое небо Болгарии. А Христо Ясенев, талантливый каждым ударом своего сердца? А какими плодотворными для крестьянской жизненной силы Сергея Румянцева могли бы стать мудрость и революционные ветры не прожитых им десятилетий?

Вопросы, на которые никогда не будет ответа.

Одной из мало кому известных жертв апреля 1925 года был офицер-коммунист Иван Минков. Он тоже погиб непростительно молодым. Я с удивлением узнал, что ему принадлежит мелодия «Убитых» — великой болгарской песни, слившегося воедино таинства музыки и стиха, песни, которую каждый болгарин носит в своем сердце...

Какие не рожденные еще созвучия были прострелены пулей 20 апреля 1925 года?

Время молчит.

А вся эта ослепительная вереница лучших людей народа, «самых смелых и способных» среди болгар? Один за другим вырванные из жизни, они тоже погибли молодыми. Какие свершения остались неосуществленными? Какие сверкающие имена задушила свистящая петля палачей?

Сердце молчит.

Молчит и разум. Потому что там, куда напрасно стремятся проникнуть его лучи, царит глубокий, бездонный мрак.

В день, когда последние страницы этой книги прошелестели в моих пальцах — и впервые не принесли мне радости, охватывающей каждого автора в конце работы, — я решил посетить места, где когда-то покоились погибшие. Свернув с шумной магистрали, я шел вдоль почти высохшей, изгрызанной зубами бульдозеров речки. От братских могил не было и следа — люди постарались уничтожить следы этого невиданного преступления.

А в ушах у меня звучала тихая, пронизанная скорбным сиянием мелодия капитана Ивана Минкова. И я понял — эта песня о них, о тех, кто мучениче-

ской смертью пал за болгарскую правду. Стихи Вазова рыдали над теми, кто, по-братски обнявшись, спал в священной болгарской земле:

Убитые, в иной вас полк послали,
Нет отпуска, не слышен зов борьбы.
Легли, по-братски руки сжали,
друг другу доброй ночи пожелали
до той — второй — трубы...

Я шел по осыпающимся обрывам, по сухой спутанной траве, там, где грядущее поколение воздвигнет павшим памятники-святителища,— ведь срок давности не существует для памяти народа — и ветер пел у меня в ушах всеми голосами свободы...

Тот самый ветер, который ликующим сентябрьским утром разорвал прогнившие петли удушенных, развеял прах, покрывающий их очи, и прошептал — всем и каждому:

— Восстаньте! Звучит вторая труба!

1969—1971

ПИСЬМА

Нелегко мне заканчивать эту книгу.

Я пытаюсь ограничить ее рамками времени, выискиваю трезвые мудрые слова, которые могут объять собой истину. Ничего не выходит. Потому что время совсем не так строго разграничено, как об этом написано в учебниках истории. И потому, что трезвые слова теряют цену при каждом соприкосновении с живым человеческим страданием, горячим дыханием подвига.

Наверное, такой она и останется эта книга, незавершенной, недосказанной...

Передо мной лежит множество читательских писем. Они готовы помочь мне сделать еще один шаг, дойти до конца. Они рассказывают о павших, о палачах, действовавших в разных концах страны, воскрешают имена и события, над которыми тяготеет незаслуженное забвение. А я не могу отделаться от мысли, что за каждым именем стоят десятки других имен, за каждым вопросом — еще много-много вопросов... Потому что страшный 1925 год был не только годом политических сражений, а сложным узлом эпохи, водоворотом, разбудившим глубины болгарской истории и вынесшим на поверхность никому не ведомые пласты народной души.

И действительно, какая мощь, какая гордая непримиримость, какое неподвластное разуму чувство долга, оказавшиеся сильнее пепелищ и погромов! Может быть, именно в этом заключается истинное состояние духа, естественная для человека жажда творить, свободно дышать, свободно мыслить... Руины Сентябрьского восстания погребли передовые посты революции. Но революция продолжалась! Рядом с ударной силой Военной организации партии — молчаливой, крепко спаянной с народом армии ко

всему готовых бойцов, против бездушной лавины фашизма встал духовный цвет нации — ученые, люди пера, депутаты, юристы, учителя. Для иллюзий не осталось места: сентябрьский разгром еще стоял у всех перед глазами. Они приняли сражение, которое — по логике очевидности — заранее можно было считать проигранным. Это был бунт не только против основанной на насилии общественной системы, но и против догм «здравого» разума.

Потому что бывают вещи, более истинные, чем реальность, более ясные, чем очевидность. То, что таится в самой глубине, самой сердцевине болгарского характера.

А раскрытые письма все лежат на моем столе, их строчки рассказывают, рассуждают, спрашивают...

«Расскажите о зверствах полковника Дипчева и капитана Кубадинова, которые в 1925 году приехали в наше село Борима и совершили здесь множество убийств и поджогов! После Девятого сентября их судили в Трояне и заслуженный приговор им был — смерть...»

«В междуречье Янтры и Росицы по приказу Стояна Тахрилова было убито много молодых антифашистов Лясковского края: Георгий Пыргов, Димитр Матров, Иван Топалов, Коста Казанджиев, Марин Прапинов, Моско Рашев... — всего тринадцать человек...»

«Вы забыли рассказать о журналисте Цоньо Матове...»

«Нынешнее поколение должно знать о героях-мучениках Радомирского края, погибших в 1925 году. Это руководитель околийского комитета Единого фронта Георгий Христов, убитый при «попытке к бегству» на шоссе за казармами... студент-медик Иван Николов, задушенный кабелем у подножия горы Люлин... Асен Пазов, повешенный на площади в Горна Джумаяе... Захарий Гайдаров, расстрелянный на шоссе между Пирдопом и Златицей... Пано Василев, убитый полицейским агентом в Софии...»

«Мы с Петром Абаджиевым работали токарями в Арсенале... Помню его слова: «Разве можно спокойно смотреть, как нас, словно собак, стреляют на улицах... Мы отомстим!» Характер у него был боевой, ходил он всегда с оружием. Это он поставил адскую

машину в собор Святой Недели. История справедливо осудила его за это. Но разве действия и зверства фашистов не были во сто крат более жестокими! Это их власть была незаконной, а не борьба, которая велась против них... После взрыва он эмигрировал и вернулся после Девятого сентября полковником Красной Армии. Вскоре после этого он погиб при автомобильной катастрофе...»

«Во время апрельских событий Бяла Слатина понесла тяжелые жертвы, были убиты Стефан Минковский, Павел Стефанов, Цани Иванов...»

«Во время апрельских событий Мико Петков, который до 9 июня был секретарем БЗНС и депутатом, был вызван в полицию «для справки». Он тоже «пропал без вести». Он был инвалидом войны, вместо одной ноги — протез...»

«Про Илианский форт я знаю, что там был один колодец, который осыпался. Как-то раз подняли наших солдат, что в конюшне служили, и вместе с волами и лошадьми послали вроде бы овес сеять. Не было их около недели. Потом один вернулся, Димитр Мутов его звали. Оглядывается, крутит головой, как испуганный конь... «Что, Мутов, посеяли овес?» — спрашиваем. «Не овес мы сеяли, — говорит, — а людей хоронили — в том колодце. Я боялся туда лезть, а один офицер пригрозил оружием, я и полез, на веревке спустили. Я там, внизу, трупы укладывал — все штатские, мужчины, женщины...»».

«Приезжайте в наше село Ленково. Найдете много материалов о событиях 1925 года. Наш край, и особенно села вдоль Дуная, принес много, много жертв. К сожалению, о них написано очень мало...»

«Вы не написали о Стефане Параскове...»

«О Гено Гюмюшеве вы только упоминаете, к тому же в общем списке. А он был одним из самых видных коммунистов. Я работала с ним в Варненской партийной организации и могу многое рассказать о его революционной деятельности...»

«В помещении военной голубеводческой станции близ Видина были заперты около пятидесяти человек арестованных. В мае 1925 года во двор вывели Георгия Косовского, Ивана Хаджийончева и Христо Джамова, скрутили им руки, привязали друг к другу и посадили в телегу... Потом мы узнали, что их

вывезли за город и закололи штыками. Еще недавно было известно, что их убийцы живы и находятся в Софии...»

«Когда Воскресия Цанева пришла к генералу Вылкову узнать про своего «пропавшего без вести» мужа Георгия Цанева, она взяла с собой трехлетнего сынишку. Об этом упоминается в книге, но вы упустили некоторые существенные подробности. Пока женщина рыдала и оплакивала убитого мужа, генерал Вылков обнимал ребенка и совал ему в кармашек мелочь и конфеты...»

«Жертв действительно было неисчислимое множество, но книга, посвященная апрельским событиям 1925 года, останется неполной, если в ней не будут упомянуты такие замечательные революционеры, как Борис Баев, Тодор Кацаров, Благой Касабов, Никола Габровский, Иван Миланов, Васил Каравасилов, Милан Василев, Атанас Генчев, Велко Йовков, Васил Георгиев, Владимир Зографов, Кирилл Чепишев, Асен Агов, Васил Ленков, Спас Балевский, Марин Димитров...»

И в каждом письме — все новые и новые имена! А за каждым из них — неповторимая человеческая судьба, страдание, несломленная воля...

Ее действительно не охватить взглядом, эту бесмертную колонну, прошедшую сквозь время и навечно запечатленную в народной памяти.

Я получил письмо от вдовы Димитра Найденова. Оно раскрыло еще одну, до сих пор малоизвестную страницу деятельности нашего замечательного публициста. После взрыва в соборе Святой Недели ему удалось скрыться. Но и находясь в подполье, он сумел связаться с болгарским корреспондентом английской газеты «Дейли геральд» и передать через него целую серию статей о положении в Болгарии. Димитр Найденов в совершенстве владел английским языком, и можно не сомневаться, что именно его корреспонденции сыграли существенную роль в решении группы английских парламентариев во главе с Веджвудом посетить Болгарию и своими глазами убедиться в преступлениях фашистов. «Мой муж, — пишет Милка Найденова, — испытывал

огромное удовлетворение, поняв, что ему удалось привлечь внимание прогрессивных людей за рубежом к борьбе болгарского народа». Ведь каждое проявление возмущения за пределами страны приносило новые тревоги болгарским правителям, а тем, над кем висел смертный приговор,— новые надежды.

Двадцать лет спустя, в 1945 году, в санаторий к тяжело больному Димитру Найденову приехали английские журналисты. Они не забыли его выступления в английской печати и прибыли, чтобы позвать ему руку за проявленное мужество и достойно исполненный долг журналиста. Нетрудно представить себе, что испытывал Найденов, получив на закате жизни такое волнующее признание своей деятельности, как публициста и гражданина. В написанном незадолго до смерти письме-завещании он вновь возвращается к событиям 1925 года: «Я хочу, чтобы об этом стало известно, так как больших заслуг у меня нет...»

А я думаю, едва ли найдется хоть один значительный болгарский писатель, публицист, вообще человек пера, который бы в то трагическое время не нашел бы способа выразить свой протест или хотя бы неодобрение действий болгарских фашистов. В этом убеждают нас, в частности, документы, рассказывающие о том, как вел себя в те годы Кирилл Христов, поэт, которого довольно трудно причислить к общественно-чутким литераторам. За две недели до взрыва в соборе Святой Недели он написал Александру Цанкову письмо, в котором предупреждал премьера, что ненужная жестокость может озлобить «слишком многих». Ответ был весьма решительным — разгневанный Цанков специальной радиogramмой приказал немедленно уволить Христова. «А ведь у него в руках было медицинское свидетельство о моей болезни и о том, что я нуждаюсь в лечении,— недоумевает Кирилл Христов.— К тому же письмо мое было написано абсолютно прилично, оно дышало болью...»

«Увидев сына бездыханным, с окровавленным лицом, наша мать горько зарыдала: «И к чему было столько труда, столько чтения... Забывал о себе, о своей молодости... Столько знаний — и все прахом, все в землю...» Это было 25 апреля 1925 года, в день, когда был убит мой брат Борис Баев...»

Я листаю воспоминания о коммунисте из города Ловеча Борисе Баеве, написанные пятьюдесятью его соратниками, боевыми друзьями, родными... «Он подчинил свою жизнь грядущей победе и со всей энергией своих двадцати восьми лет готовился стать гражданином коммунистической Болгарии. Он был бы одним из самых достойных и выдающихся ее строителей...»

Я вижу его одухотворенное, с тонкими чертами лицо... Перелистываю его судебные речи (Баев был адвокатом-защитником на процессе ловечских антифашистов) и словно бы слышу его иронический, беспощадный и в то же время такой человеческий голос. Баев был одним из первых партийных руководителей в Ловече — членом околийского и окружного комитетов БКП. Благодаря его блестящей защите были оправданы сорок пять «врагов государства», юношей, арестованных после разгрома Сентябрьского восстания. Баев взял на себя также защиту ушедшего в подполье и объявленного «разбойником» Василя Попова по прозвищу Герой. Я познакомился с планами работ, которые он собирался написать: о Василе Левском, о деспотических режимах в истории политической жизни Болгарии, о моральных опустошениях, причиняемых войнами...

Баева арестовали 16 апреля вместе с его соратником, руководителем ловечских рабочих и ремесленников Тодором Кацаровым. Ночью 24 апреля их вывели из здания околийского полицейского управления. И тут же, на улице, инсценировав «попытку к бегству», выпустили в них несколько пуль. Тодор Кацаров был убит на месте. Тяжело раненный Борис Баев упал на каменные плиты тротуара, прося о помощи первых утренних прохожих... В восемь часов утра на «место происшествия» прибыли околийский начальник Тифчев и прокурор Балевский. «Я жив, отвезите меня в больницу...» — обратился к ним Борис Баев. Прокурор подал знак стоящему рядом с ним полицейскому Ивану Гагаузину, и тот безошибочно его понял. Быстро разогнали собравшихся вокруг раненого прохожих, и полицейский прикончил его штыком прямо на улице...

В то же утро Тифчев телеграфировал в министерство внутренних дел: «Вчера вечером около 11 часов задержанные ранее ловечские конспираторы Борис Баев и Тодор Кацаров бежали через окно из здания полицейского управления. Шагов через сто они встретили на улице полицейский патруль, который, после предупреждения, открыл огонь и застрелил обоих. Я приказал произвести дознание. Улик преступления не обнаружено».

Очевидцы утверждают, что даже после ударов штыком Борис Баев был еще жив. Его отвезли в конюшню околийского управления и там вновь выпустили в него несколько пуль. Потом положили его в крытую телегу и под конвоем полицейских повезли на кладбище. Очевидцы утверждают, что и тогда Борис Баев был еще жив: приподнимал верх и махал рукой — просил помощи или прощался, кто знает?.. Из рассказов тех же свидетелей мы узнаем, что старший полицейский Никола Голийкоолу приказал возникнуть повернуть к больнице, потому что зверства властей возмутили весь город. И там врач-фашист по приказу Тифчева перерезал ему аорту... И только тогда Борис Баев скончался.

Так ли уж нужно выискивать в этой истории границы, отделяющие реальность от воображения? Создавая легенды, народ безошибочно вкладывает в них истину, более правдивую, чем житейская достоверность. Эти легенды-истины помогают народу отсрочить смерть самых дорогих своих сынов, тех, с которыми ему труднее всего расстаться...

Прошло несколько месяцев. Однажды снежным ноябрьским утром на землях села Болгарене был найден мертвым околийский начальник Тифчев. К его положенной на труп фуражке было приколото письмо, слова которого не забыты до сих пор:

«Прохожий, плюнь на этот труп и пройди мимо! Зайди в соседнее село и расскажи, что здесь, убитый революционерами, лежит самый страшный злодей и садист в нашей стране Николай Тифчев — Кырджи-Осман. Гром наших карабинов навсегда смел его с жизненного пути. Пусть эхо наших выстрелов сольется с воем диких зверей и зимних вьюг и понесется по пустынным дубравам как печальный реквием над одинокими могилами наших дорогих

товарищей, павших за великие идеалы порабощенных!»

Тифчев был убит бойцами отряда Васи́ла Попова — Героя.

Но кто же оставил на бумаге эти необыкновенные слова-выстрелы, напоминающие темные, стародавние заклинания эпических времен? Быть может, это был сам командир отряда, тот самый «разбойник», избравший дорогу мести, потому что общество отказало ему в праве свободно вдыхать воздух своей страны... Тот суровый и ожесточенный несправедливостью человек, который заплакал только один раз в жизни — когда узнал, как адвокат-коммунист Борис Баев рассказывал суду о его безрадостной и горькой судьбе...

«Не кто иной, а Васил Икономов преследовал царя во время перестрелки на Арабоконакском перевале», — пишет в своем письме Пырван Попов. И дальше он рассказывает, что нападающие не собирались убивать Бориса III, а хотели захватить его в плен и заставить подписать амнистию всем политическим заключенным страны. «В истинности этого я готов подписаться обеими руками, потому что слышал об этом от самого Васи́ла Икономова, которого я укрывал в июне того же года».

Если написанное в этих строчках правда, то картина арабоконакского покушения становится еще выразительнее. К фигуре бегущего назад, смертельно бледного «владельца болгарской короны» мы можем присоединить и тень переодетого в офицерский мундир Икономова, который, прячась за ветками деревьев, бежит вдоль дороги почти рядом с царем и кричит ему, стараясь заглушить ружейную пальбу: «Стой! Мы тебя не убьем! Дай политическую амнистию, и мы тебя выпустим!»

Похоже, что некоторые обстоятельства подтверждают истинность этого утверждения. Действительно, были убиты два царских спутника, находившихся совсем рядом с Борисом, а он, ради которого было затеяно все покушение, не получил ни единой царапины.

Неужели пули пощадили его случайно?

И достигло ли его ушей хоть что-нибудь сказанное Икономовым?

Единственный свидетель, который мог бы подтвердить или опровергнуть все,—сам Васил Икономов — погиб в том же 1925 году. Однажды лунной летней ночью он решил выкупаться в речке близ села Белица, и когда выходил на берег, в прибрежном ивняке раздался выстрел. Единственный, но смертельный.

Один из читателей прислал мне в своем письме текст некролога, опубликованного Антоном Страшимировым после гибели его брата Тодора Страшимирова. Он состоит всего из двух фраз: «И моего брата убили... Да сохранит бог всех знакомых и незнакомых!»

Писатель мог бы сказать просто: «Моего брата убили». Но он вставляет в фразу незаметное на первый взгляд «и» — и все тут же преображается. Личная боль сгорает в пламени гражданского протеста. Его некролог не стон страдания, а непримиримый крик, беспощадное обвинение: «И моего брата убили!»

Какое потрясающее слияние личного горя с горем всего народа!

«Мы часто повторяем некоторые имена, почему же мы так мало знаем о них?» — читаю я недоуменные строчки одного письма. И на первом месте в списке «известных неизвестных» стоит Иосиф Хербст.

Действительно, об этом выдающемся публицисте, общественном деятеле и гражданине, насколько мне известно, нет даже отдельно изданного, хотя бы скромного, биографического очерка. Его публицистика даже сейчас, через пятьдесят лет после его гибели, не собрана и не издана.

О Хербсте невозможно говорить спокойно. Потому что каждая написанная им строчка таит в себе своего рода магнетизм, при каждом к нему приближении возникает ощущение, что ты попадаешь в наэлектризованное пространство.

Вот, например, его «Письмо с фронта», написанное 15 июня 1918 года с позиций возле эгейского го-

рода Ксанти. Уволенный с поста директора печати, Хербст ушел на фронт в чине капитана. «Письмо» начинается с разговора двух солдат-отпускников: «...никакого порядка не будет, пока каждый отпускник не увезет с собой по четыре бомбы...»

«Эти бомбы,— продолжает Иосиф Хербст,— уже готовы, и солдат, который привезет их с собой, находится рядом со мной, с вами, среди вас. Бомбы эти приготовлены в так называемом тылу, и каждая из них наполнена самым разнообразным «взрывчатым» материалом: хинином, украденным у страдающих малярией солдат, остатками еще не переправленного за границу сахара, хлебом, припрятанным в министерских имениях, продуктами, спрятанными в домах старост, жирными дивидендами возникших, как грибы после дождя, акционерных компаний и их членов — депутатов парламента, приобретающих виллы в неболгарских столицах...

Бомбы эти электрического действия. Сильнейшие земные, подземные, воздушные токи по невидимым проводам идут из тыла к нашему солдату, и когда-нибудь он неминуемо ее бросит. Если это не случится сегодня... то — и это самое страшное — он сбережет ее до дня расплаты. А этого дня одинаково сильно жаждут и на передовой, и в кухне какой-нибудь забытой обозной колонны».

И дальше:

«Настоятельно необходим еще один новый закон. Его обоснование может состоять всего лишь из одной фразы: *«Ни один болгарский гражданин не имеет права обогащаться за счет и через посредство войны»*».

«...От каждой банкноты, каждой золотой монеты в сейфах наших новоявленных богачей несет потом наших замученных в окопах солдат, кровью множества павших незабвенных героев...

Только одного я не устану требовать от имени армии, от имени всех, кто проводит мучительные ночи, раздумывая над нашим теперешним положением,— исправить совершенную несправедливость и признать, что *жизнь солдата не имеет эквивалента*».

Известно, что болгарский премьер-министр Александр Стамболийский взял это письмо Хербста на Парижскую конференцию, где обсуждалось заклю-

чение мирного договора. Переведенное на многие языки, оно и до сих пор цитируется в мемуарах и исторических исследованиях. Потому что и сейчас еще жива действенная сила его призыва защитить единственное, чему нет никакой замены,— человеческую жизнь!

«Вы слишком лаконичны. Почему вы не рассказали несколько подробнее хотя бы о писателях? Да и о палачах тоже...»

Я ждал подобных вопросов и потому несколько раз делился на этих страницах своими раздумьями о характере книги. В сущности, это было нужно не столько читателям, сколько мне самому. Потому что нет ничего более обманчивого, чем лавина фактов. Опасность быть под ней погребенным почти неминоваема. С отрицательными героями мне все же было легче: тут можно было резать не жалея, устраняя «лишнее» без всяких сантиментов. (За что не слишком часто упоминавшиеся здесь палачи мне, наверное, только благодарны.) Из компании «мастеров петли» я выбрал наиболее характерных, оставляя без внимания тех, которые их только повторяли или же были просто палачами — никем другим.

Но люди, которые своими мужеством и непримиримостью вдохновили меня на эту книгу?

С ними все обстоит неизмеримо сложнее. Ведь их не какой-нибудь десяток, их тысячи! Как может писатель прийти к каждому, победить забвение и живым вернуть человека потомкам? К тому же мерзость всегда и всюду одинакова, в то время как подвиг неповторим по самой своей сути! Во мне до сих пор не улеглось чувство бессилия и вины перед моими героями. Может быть, когда-нибудь трудом многих людей о них будет написана большая книга — настоящий национальный эпос, где будет собрано все, что хранит народная память, для всех, о всех...

Вопросы читателей заставляют меня вновь задуматься над этой книгой. Я сознаю, что автор — самый неубедительный толкователь своего творения. И если я все же возвращаюсь к этому разговору, то лишь для того, чтобы подчеркнуть, что я всегда чувствовал рядом с собой понимающе-умный взгляд моего

читателя. Я верил ему уже тогда, когда в голове у меня был полный хаос, все путалось и в то же время нужно было отбирать и просеивать факты так, чтобы не терялось даже опущенное. Верю я ему и сейчас, тем более что теперь ясно чувствую ту волну доверия и сопричастности, цену которой нельзя измерить ничем.

Я был обязан произнести эти слова.

Штрих не должен ложиться на штрих. Вот правило, которым я прежде всего руководствовался в моей работе. И чем сильнее наступал на меня фактический материал, тем тверже противопоставлял я ему свое внутреннее убеждение — отбирать нужно только самое яркое, отсекая все ненужные отклонения, по которым может растечься главное. И именно это железное правило, как это ни странно, помогло мне приобрести столь необходимую внутреннюю свободу. Именно оно избавило меня от многих мучений, когда приходилось навсегда расставаться со столькими находками, у которых уже были предпочтительные мною двойники...

Вот один из характерных случаев:

Среди многочисленных фактов личной жизни генерала Вылкова особенно выделялась история с его «любовной» коллекцией. Речь идет о мании генерала собирать «порнографические снимки», главным действующим лицом которых являлся... он сам. (Мания, достойная внимания психопатологов.) Каждое, состоявшееся у него на квартире любовное свидание оказалось запечатленным на фотопленке. Наверное, этим занимался его ординарец или кто-нибудь другой из приближенных, специально обученный обращению с фотоаппаратом. Однажды, переезжая на новую квартиру, генерал, обычно такой осторожный, забыл в куче старых вещей «четыре большие картонные коробки с фотографиями и фотопленкой». Так коллекция попала в руки двух чиновников Картографического института, которые до тех пор считали Вылкова «воспитанным и высокоморальным человеком». Пока генерал был в зените своей карьеры, обладатели обличительных фотографий хранили их в глубокой тайне. Но когда через несколько лет генерал Вылков был назначен послом в Рим, аппетиты чиновников разыгрались. Был составлен план

шантажа. Жена одного из заговорщиков, Фичева, специально отправилась в Рим и предложила генералу сделку: снимки будут ему переданы за миллион левов! Немного подумав, Вылков согласился и обещал написать в Софию своему другу, который все устроит. Однако, когда Фичева явилась на условленное место в расположение Софийского крепостного батальона, перед ней появился... Кочо Стоянов. Вытащив пистолет и небрежно подбрасывая его на ладони, он спросил: «Знаешь, кто такой Кочо Стоянов?» — «Не знаю...» — «Ну, так лучше тебе этого не знать. Теперь слушай. Я прикончил немало народу... Клади коробки и — бегом марш!» Что было дальше, ясно: женщина оставила коробки и под дулом пистолета на подгибающихся ногах вышла из комнаты, навсегда расставшись с надеждой получить долгожданный миллион.

Можно ли было включить эту любопытную историю в основную часть книги? Нет. Я уже выбрал рассказ об Анне Т.

Прошлой осенью умер мой отец. Лишь после его смерти я получил завещанное им право познакомиться с его архивом. Среди бумаг я нашел папку его комсомольских лет, проведенных в Хаскове: «Мои юношеские увлечения». (Передо мной как будто засветилась печальная улыбка, с какой он написал эти слова.) В ней были тетради со стихами, которые отец с необычной для взрослого человека застенчивостью скрывал от всех. Под тетрадями находилась покоробившаяся, слипшаяся пачка бумаг, обожженная черным дыханием земли. Я долго перебирал полуистлевшие страницы, стараясь разобрать хотя бы отдельные фразы. Это были политические фельетоны, сценки, неотосланные корреспонденции для газет Хербста, журнала «Пламък»... Среди них попадались партийные брошюры, «красные» календари...

И я думал: что бы случилось, если бы все это не было зарыто во дворе моей матери за несколько часов до обыска 17 апреля 1925 года! И если бы в этот день он был в городе, а не в глухом селе Свиркове, куда после многих лет голода и безработицы привели его скитания по сельским канцеляриям...

Это произошло за шесть лет до моего рождения.

...Я сидел над вырванной у времени стопкой, приобретшей цвет и темное дыхание земли, и всем своим существом чувствовал присутствие чего-то не поддающегося разгадке, чуждого моим ощущениям и разуму. Чего-то такого, во что не в состоянии проникнуть человеческие мысль и слово.

Ведь палачи убивали не только свои жертвы, но и заложенную в них будущую жизнь. И преступление их — насилие не только общественное, но и биологическое, разрыв освященной высшим законом природы цепи жизни.

И всей своей израненной душой я вновь и вновь ловил смысл трагического призыва Иосифа Хербста, обращенного ко всем людям и всем поколениям: необходимо постановить, что у человеческой жизни нет эквивалента!

Ведь за миллионы лет природа не создала ничего, что могло бы заменить человека.

Я ищу слова, которыми мог бы закончить эту книгу, а перо мое уже столько дней висит над белой страницей, не смея к ней прикоснуться.

Такой она и останется, эта книга — незавершенной, недосказанной...

СОДЕРЖАНИЕ

Прелюдия

8

Земля без воздуха

45

Недремлющая совесть

114

Вторая труба

145

Письма

154

Николай Христовоз ПО СЛЕДАМ «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ»

Заведующий редакцией *К. Н. Сванидзе*

Редактор *И. П. Башкирова*

Художественный редактор *А. М. Ясинский*

Технический редактор *Н. П. Межеричкая*

Сдано в набор 12 февраля 1976 г. Подписано в печать 18 мая 1976 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 8,82.
Учетно-изд. л. 8,34. Тираж 200 тыс. экз. Заказ № 452. Цена 35 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.